

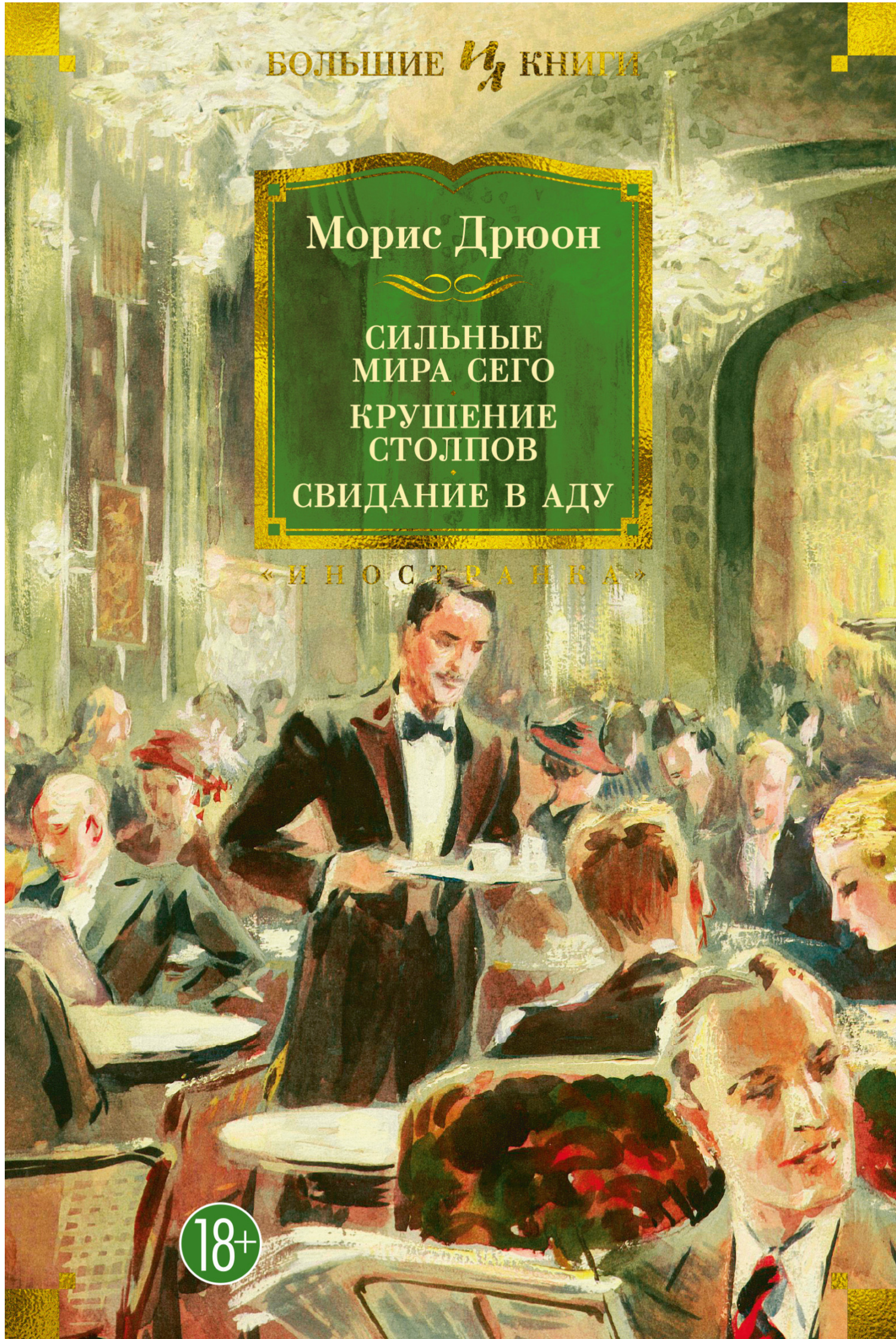
БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Морис Дрюон

СИЛЬНЫЕ
МИРА СЕГО
КРУШЕНИЕ
СТОЛПОВ
СВИДАНИЕ В АДУ

«ИНОСТРАНКА»

18+



Конец людей

Морис Дрюон

**Сильные мира сего. Крушение
столпов. Свидание в аду**

«Азбука-Аттикус»

1948, 1950, 1951

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Дрюон М.

Сильные мира сего. Крушение столпов. Свидание в аду /
М. Дрюон — «Азбука-Аттикус», 1948, 1950, 1951 — (Конец
людей)

ISBN 978-5-389-09395-9

Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья, и циклу «Конец людей», рассказывающему о закулисе современного общества, о закате династии финансистов и промышленников. Трилогия «Конец людей» – наиболее значительное произведение Дрюона. Герои первого романа «Сильные мира сего», жившие во Франции в начале XX века, могут похвастаться родственными связями с французской знатью. Их состояние исчисляется миллионами франков. Их дети самые богатые наследники в Париже. Почему же нет мира в этой семье? Могущественные политики, финансовые воротилы, аристократы и нувориши – все когда-то стареют. Героев второго романа «Крушение столпов» настигают болезни и физические недуги. Их дети, напротив, входят в силу, подрастают внуки, но старики, с их поразительной волей к жизни, опытом и цепкостью, пытаются повлиять на новое поколение, доказывая, что их еще рано списывать со счетов. Третий роман цикла называется «Свидание в аду». О богатстве и могуществе семьи Шудлер и де Ла Моннери напоминают лишь громкие титулы и стосковавшийся по ремонту родовой замок. В наследство Мари-Анж и Жан-Ноэлю достались не завещанные миллионы, а бремя дряхлеющего клана, бесхарактерность и малодушие. Как выдержать ад общения с любящими людьми? К тому же, по замечанию одного из героев романа, «каждый таит в себе свой собственный ад»... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-09395-9

© Дрюон М., 1948, 1950, 1951

© Азбука-Аттикус, 1948, 1950, 1951

Содержание

Сильные мира сего	7
Пролог	7
Глава I. Смерть поэта	11
Глава II. Похороны	28
Глава III. Замужество Изабеллы	53
Глава IV. Семья Шудлер	88
Конец ознакомительного фрагмента.	135

Морис Дрюон

Сильные мира сего. Крушение столпов. Свидание в аду

Maurice Druon
Les grandes familles
La chute des corps
Rendez-vous aux enfers

© 1948 Julliard – Druon Estate

© 1950 Julliard – Druon Estate

© 1951 Julliard – Druon Estate

© Я. З. Лесюк (наследник), перевод, 2023

© Ю. П. Уваров (наследник), перевод, 2023

© Н. Н. Кудрявцева-Лури, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство Иностранка®

* * *

Сильные мира сего

Посвящается маркизе де Бриссак, княгине фон Аренберг

Пролог

Стены больничной палаты, деревянная мебель – все, вплоть до металлической кровати, было выкрашено эмалевой краской, все прекрасно мылось и сияло ослепительной белизной. Из матового тюльпана, укрепленного над изголовьем, струился электрический свет – такой же ослепительно белый и резкий; он падал на простыни, на бледную роженицу, с трудом поднимавшую веки, на колыбель, на шестерых посетителей.

– Все ваши хваленые доводы не заставят меня переменить мнение, и война тут тоже ни при чем, – произнес маркиз де Ла Моннери. – Я решительно против этой новой моды – рожать в больницах.

Маркизу было семьдесят четыре года, он доводился роженице дядей. Его лысую голову окаймлял на затылке венчик жестких белых волос, торчавших, как хохол у попугая.

– Наши матери не были такими неженками! – продолжал он. – Они рожали здоровых детей и прекрасно обходились без этих чертовых хирургов и сиделок, без снадобий, которые только отравляют организм. Они полагались на природу, и через два дня на их щеках уже расцветал румянец. А что теперь?.. Вы только взгляните на эту восковую куклу.

Он протянул сухонькую ручку к подушке, словно призывая в свидетели родственников. И тут у старика внезапно начался приступ кашля: кровь прилила к голове, глубокие борозды на отечном лице покраснели, даже лысина стала багровой; издав трубный звук, он сплюнул в платок и вытер усы.

Сидевшая справа от кровати пожилая дама, супруга знаменитого поэта Жана де Ла Моннери и мать роженицы, повела роскошными плечами. Ей давно уже перевалило за пятьдесят; на ней был бархатный костюм гранатового цвета и шляпа с широкими полями. Не поворачивая головы, она ответила своему деверю властным тоном:

– И все же, милый Урбен, если бы вы свою жену без промедления отправили в лечебницу, она, быть может, и по сию пору была бы с вами. Об этом в свое время немало толковали.

– Ну нет, – возразил Урбен де Ла Моннери. – Вы просто повторяете чужие слова, Жюльетта, вы были слишком молоды! В лечебнице, в клинике – где угодно – несчастная Матильда все равно бы погибла, только она еще больше страдала бы от того, что умирает не в собственной постели, а на больничной койке. Верно другое: нельзя создать христианской семьи с женщиной, у которой столь узкие бедра, что она может пролезть в кольцо от салфетки.

– Не кажется ли вам, что такой разговор вряд ли уместен у постели бедняжки Жаклины? – проговорила баронесса Шудлер, маленькая седоволосая женщина с еще свежим лицом, устроившаяся слева от кровати.

Роженица слегка повернула голову и улыбнулась ей.

– Ничего, мама, ничего, – прошептала она.

Баронессу Шудлер и ее невестку связывала взаимная симпатия, как это нередко случается с людьми маленького роста.

– А вот я нахожу, что вы просто молодец, дорогая Жаклина, – продолжала баронесса Шудлер. – Родить двоих детей в течение полутора лет – это, что бы ни говорили, не так-то легко. А ведь вы превосходно справились, и ваш малютка – просто чудо!

Маркиз де Ла Моннери что-то пробормотал себе под нос и повернулся к колыбели.

Трое мужчин восседали возле нее: все они были в темном, и у всех в галстуках красовались жемчужные булавки. Самый молодой, барон Ноэль Шудлер, управляющий Французским банком, дед новорожденного и муж маленькой женщины с седыми волосами и свежим цветом лица, был человек исполинского роста. Живот, грудь, щеки, веки – все было у него тяжелым, на всем как будто лежал отпечаток самоуверенности крупного дельца, неизменного победителя в финансовых схватках. Он носил короткую черную как смоль остроконечную бородку.

Этот грузный шестидесятилетний великан окружал подчеркнутым вниманием своего отца Зигфрида Шудлера, основателя банка «Шудлер», которого в Париже во все времена называли «барон Зигфрид»; это был высокий, худой старик с голым черепом, усеянным темными пятнами, с пышными бакенбардами, с огромным, испещренным прожилками носом и красными влажными веками. Он сидел, расставив ноги, сгорбив спину, и, то и дело подзывая к себе сына, с едва заметным австрийским акцентом доверительно шептал ему на ухо какие-нибудь замечания, слышные всем окружающим.

Тут же, у колыбели, находился и другой дед новорожденного – Жан де Ла Моннери, прославленный поэт и академик. Он был двумя годами моложе своего брата Урбена и во многом походил на него, только выглядел более утонченным и желчным; лысину у него прикрывала длинная желтоватая прядь, зачесанная надо лбом; он сидел неподвижно, опершись на трость.

Жан де Ла Моннери не принимал участия в семейном споре. Он созерцал младенца – эту маленькую теплую личинку, слепую и сморщенную: личико новорожденного величиной с кулак взрослого человека выглядывало из пеленок.

– Извечная тайна, – произнес поэт. – Тайна самая банальная и самая загадочная и единственно важная для нас.

Он в раздумье покачал головой и уронил висевший на шнурке дымчатый монокль; левый глаз поэта, теперь уже не защищенный стеклом, слегка косил.

– Было время, когда я не выносил даже вида новорожденного, – продолжал он. – Меня просто мучило. Слепое создание без малейшего проблеска мысли... Крохотные ручки и ножки со студенистыми косточками... Повинуясь какому-то таинственному закону, клетки в один прекрасный день прекращают свой рост... Почему мы начинаем ссыхаться?.. Почему превращаемся в таких вот, какими мы нынче стали? – добавил он со вздохом. – Кончаешь жить, так ничего и не поняв, точь-в-точь как этот младенец.

– Здесь нет никакой тайны, одна только воля Божья, – заметил Урбен де Ла Моннери. – А когда становишься стариком, как мы с вами... Ну что ж! Начинаешь походить на старого оленя, у которого притупляются рога... Да, с каждым годом рога у него становятся короче.

Ноэль Шудлер вытянул свой огромный указательный палец и пощекотал ручку младенца.

И тотчас над колыбелью склонились четыре старика; из высоких туго накрахмаленных глянцевитых воротничков выступали их морщинистые шеи, на отечных лицах выделялись лишенные ресниц багровые веки, лбы, усеянные темными пятнами, пористые носы; уши оттопыривались, редкие пряди волос пожелтели и топорщились. Обдавая колыбель хриплым свистящим дыханием, отравленным многолетним курением сигар, тяжелым запахом, исходившим от усов, от запломбированных зубов, они пристально следили за тем, как, прикасаясь к пальцу деда, сжимались и разжимались крошечные пальчики, на которых кожа была тонка, словно пленочка на дольках мандарина.

– Непостижимо, откуда у такого малютки столько силы! – прогудел Ноэль Шудлер.

Четверо мужчин застыли над этой биологической загадкой, над этим едва возникшим существом – отпрыском их крови, их честолюбий и ныне уже угасших страстей.

И под этим живым четырехглавым куполом младенец побагровел и начал слабо стонать.

– Во всяком случае, у него будет все для того, чтобы стать счастливым, если только он сумеет этим воспользоваться, – заявил, выпрямляясь, Ноэль Шудлер.

Гигант отлично знал цену вещам и уже успел подсчитать все, чем обладает ребенок или в один прекрасный день станет обладать, все, что будет к его услугам уже с колыбели: банк, сахарные заводы, большая ежедневная газета, дворянский титул, всемирная известность поэта и его авторские права, замок и земли старого Урбена, другие менее крупные состояния и заранее уготованное ему место в самых разнообразных кругах общества – среди аристократов, финансистов, правительственных чиновников, литераторов.

Зигфрид Шудлер вывел своего сына из состояния задумчивости. Дернув его за рукав, он громко прошептал:

– Как его назвали?

– Жан-Ноэль, в честь обоих дедов.

С высоты своего роста Ноэль еще раз бросил цепкий взгляд темных глаз на одного из самых богатых младенцев Парижа и горделиво повторил, теперь уже для самого себя:

– Жан-Ноэль Шудлер.

С городской окраины донесся вой сирены. Все разом подняли головы, и только старый барон услышал лишь второй сигнал, прозвучавший более громко.

Шли первые недели 1916 года. Время от времени по вечерам «Цеппелин» появлялся над столицей, которая встречала его испуганным ревом, после чего погружалась во тьму. В миллионах окон исчезал свет. Огромный немецкий дирижабль медленно проплывал над потухшей громадой города, сбрасывал в тесный лабиринт улиц несколько бомб и улетал.

– Прошлой ночью в Вожираре попало в жилой дом. Говорят, погибло четыре человека, среди них три женщины, – проговорил Жан де Ла Моннери, нарушив воцарившееся молчание.

В комнате наступила напряженная тишина. Прошло несколько мгновений. С улицы не доносилось ни звука, только слышно было, как неподалеку проехал фиакр.

Зигфрид снова сделал знак сыну, и тот помог ему надеть пальто, подбитое мехом; затем старик опять уселся.

Чтобы поддержать беседу, баронесса Шудлер сказала:

– Один из этих ужасных снарядов упал на трамвайный путь. Рельс изогнулся в воздухе и убил какого-то несчастного, стоявшего на тротуаре.

Неподвижно сидевший Ноэль Шудлер нахмурил брови.

Поблизости вновь протяжно завывла сирена, госпожа де Ла Моннери манерно прижала указательные пальцы к ушам и не отнимала их, пока не восстановилась тишина.

В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и в палату вошла сиделка. Это была рослая, уже пожилая женщина с поблекшим лицом и резкими жестами.

Она зажгла свечу на ночном столике, проверила, хорошо ли задернуты занавески на окнах, потушила лампу над изголовьем.

– Не угодно ли вам, господа, спуститься в убежище? – спросила сиделка. – Оно находится здесь же, в здании. Больную нельзя еще трогать с места, врач не разрешил. Быть может, завтра...

Она вынула младенца из колыбели, завернула его в одеяло.

– Неужели я останусь одна на всем этаже? – спросила роженица слабым голосом.

Сиделка ответила не сразу:

– Полноте, вы должны быть спокойны и благоразумны.

– Положите ребенка вот здесь, рядом со мной, – проговорила молодая мать, поворачиваясь спиной к окну.

В ответ на это сиделка лишь прошептала: «Тише!» – и удалилась, унося младенца.

Сквозь открытую дверь роженица успела разглядеть в синеватом сумраке коридора тележки, в которых катили больных. Прошло еще несколько мгновений.

– Ноэль, я думаю, вам лучше спуститься в убежище. Не забывайте, у вас слабое сердце, – проговорила баронесса Шудлер, понижая голос и стараясь казаться спокойной.

– О, мне это ни к чему, – ответил Ноэль Шудлер. – Разве только из-за отца.

Что касается старика Зигфрида, то он даже и не старался подыскать какое-нибудь оправдание, а сразу поднялся с места и с явным нетерпением ждал, когда же его проведут в убежище.

– Ноэль не в состоянии оставаться в комнате во время воздушных тревог, – прошептала баронесса госпоже де Ла Моннери. – В такие минуты у него начинается сердечный приступ.

Члены семьи де Ла Моннери не без презрения наблюдали за тем, как суетятся Шудлеры. Испытывать страх еще можно, но показывать, что боишься, просто непозволительно!

Госпожа де Ла Моннери вынула из сумочки маленькие круглые часики.

– Жан, нам пора идти, если мы не хотим опоздать в Оперу, – проговорила она, выделяя слово «Опера» и подчеркивая этим, что появление дирижабля не может ничего изменить в их вечерних планах.

– Вы совершенно правы, Жюльетта, – ответил поэт.

Он застегнул пальто, глубоко вздохнул и, словно набравшись смелости, небрежно прибавил:

– Мне еще нужно заехать в клуб. Я отвезу вас в театр, а потом уеду и возвращусь ко второму акту.

– Не беспокойтесь, мой друг, не беспокойтесь, – ответила госпожа де Ла Моннери язвительным тоном, – ваш брат составит мне компанию.

Она наклонилась к дочери.

– Спасибо, что приехали, мама, – машинально проговорила роженица, ощутив на своем лбу торопливый поцелуй.

Затем к кровати подошла баронесса Шудлер. Она почувствовала, как рука молодой женщины сжала, почти стиснула ее руку; на мгновение она заколебалась, но затем решила: «В конце концов, Жаклина мне всего лишь невестка. Раз уж уходит ее мать...»

Рука больной разжалась.

– Этот Вильгельм Второй настоящий варвар, – пролепетала баронесса, пытаясь скрыть смущение.

И посетители поспешно направились к выходу: одних гнала тревога, другие торопились в театр или на тайное свидание; впереди шли женщины, поправляя булавки на шляпах, за ними, соблюдая старшинство, следовали мужчины. Затем дверь захлопнулась, наступила тишина.

Жаклина устремила взор на смутно белевшую пустую колыбель, потом перевела его на слабо освещенную ночником фотографию: она изображала молодого драгунского офицера с высоко поднятой головой. В углу рамки была прикреплена другая, маленькая фотография того же офицера – в кожаном пальто и в забрызганных грязью сапогах.

– Франсуа... – едва слышно прошептала молодая женщина. – Франсуа... Господи, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось!

Глядя широко раскрытыми глазами в полумрак, Жаклина вся превратилась в слух; тишину нарушало лишь ее прерывистое дыхание.

Внезапно она различила далекий гул мотора, доносившийся откуда-то с большой высоты, затем послышался глухой взрыв, от которого задрожали стекла, и снова гул – на этот раз ближе.

Женщина вцепилась руками в край простыни и натянула ее до самого подбородка.

В это мгновение дверь отворилась, в нее просунулась голова с венчиком белых волос, и тень разъяренной птицы – тень Урбена де Ла Моннери заметалась на стене.

Старик замедлил шаги, потом, подойдя к кровати, опустился на стул, на котором несколько минут назад восседала его невестка, и ворчливо сказал:

– Меня никогда не занимала опера. Лучше уж я посижу здесь, с тобой... Но что за нелепая мысль рожать в таком месте!

Дирижабль приближался, теперь он пролетал прямо над клиникой.

Глава I. Смерть поэта

1

Воздух был сухой, холодный, ломкий, как хрусталь. Париж отбрасывал огромное розовое зарево на усеянное звездами и все же темное декабрьское небо. Миллионы ламп, тысячи газовых фонарей, сверкающие витрины, световые рекламы, бегущие вдоль крыш, автомобильные фары, бороздившие улицы, залитые светом театральные подъезды, слуховые оконца нищенских мансард и огромные окна парламента, где шли поздние заседания, ателье художников, стеклянные крыши заводов, фонари ночных сторожей – все эти огни, отраженные поверхностью водоемов, мрамором колонн, зеркалами, драгоценными кольцами и накрахмаленными манишками, все эти огни, эти полосы света, эти лучи, сливаясь, создавали над столицей сияющий купол.

Мировая война окончилась два года назад, и Париж, блестящий Париж, вновь вознесся в центре земной планеты. Никогда еще, быть может, поток дел и идей не был столь стремительным, никогда еще деньги, роскошь, творения искусства, книги, изысканные кушанья, вина, речи ораторов, украшения, всякого рода химеры не были в такой чести, как тогда – в конце 1920 года. Доктринеры со всех концов света изрекали истины и сыпали парадоксами в бесчисленных кафе на левом берегу Сены, в окружении восторженных бездельников, эстетов, убежденных ниспровергателей и случайных бунтовщиков – они каждую ночь устраивали торжище мысли, самое грандиозное, самое удивительное из всех, какие только знала мировая история! Дипломаты и министры, прибывшие из различных государств – республик и монархий, – сталкивались на приемах в пышных особняках неподалеку от Булонского леса. Только что созданная Лига Наций избрала местом своей первой ассамблеи Часовой зал и отсюда возвестила человечеству начало новой эры – эры счастья.

Женщины укоротили платья и стали коротко подстригать волосы. Возведенный еще при Луи Филиппе пояс укреплений – поросшие травой валы и каменные бастионы, – в котором Париж чувствовал себя удобно целых восемьдесят лет, это излюбленное место воскресных игр уличных мальчишек, внезапно показался тесным, старинные форты сносились с лица земли, рвы засыпались, и город раздался во все стороны, заполняя огороды и жиденькие садики высокими зданиями из кирпича и бетона, поглощая старинные часовни бывших пригородов. После победы Республика избрала своим президентом одного из наиболее элегантных людей Франции; через несколько недель он стал жертвой безумия¹.

Больше чем когда-либо олицетворением Парижа в те годы считалось общество, верховным законом которого был успех; двадцать тысяч человек захватили и держали в своих руках власть и богатство, господство над красотой и талантами, но положение и этих баловней судьбы оставалось неустойчивым. Пожалуй, их можно было сравнить с жемчугом, который тогда особенно вошел в моду и мог служить их символом: встречались среди них настоящие и поддельные, отшлифованные и не тронутые резцом; нередко приходилось наблюдать, как в несколько месяцев меркла слава самого блестящего человека, а ценность другого перла возрастала с каждым днем. Но никто из двадцати тысяч не мог похвалиться постоянным, ярким, слепящим сиянием – этим подлинным свойством драгоценного камня, все они поблескивали тем тусклым, словно неживым, светом, каким мерцают жемчужины в глубинах моря.

Их окружали два миллиона других человеческих существ. Эти, видно, не родились на путях удачи либо не сумели добиться успеха или даже не пытались его достичь. Как и во все

¹ Речь идет о Поле Дешанеле, который был президентом Франции в 1920 г.

времена, они делали скрипки, одевали актрис, изготавливали рамы для картин, написанных другими, расстилали ковры, по которым ступали белые туфельки знатных невест. Те, кому не повезло, были обречены на труд и безвестность.

Но никто не мог бы сказать, двадцать ли тысяч направляли труд двух миллионов и обращали его себе на пользу, или же два миллиона, движимые потребностью действовать, торговать, восхищаться, ощущать себя причастными к славе, увенчивали избранных диадемой.

Толпа, ожидающая пять часов кряду, когда же наконец проедет королевская карета, испытывает больше радости, чем монарх, приветствующий из экипажа эту толпу...

И все же люди уходящего поколения, те, к кому старость пришла в годы войны, находили, что Париж клонится к закату вместе с ними. Они оплакивали гибель истинной учтивости и французского склада ума – этого наследия восемнадцатого века, которое, по их словам, они сохранили в неприкосновенности. Они забывали, что отцы их и деды в свое время говорили то же самое, забывали также и то, что сами прибавили многие правила к кодексу учтивости и обрели «разум» – в том смысле, в каком они теперь употребляли это слово, – лишь под старость. Моды казались им слишком утрированными, нравы – слишком вольными: то, что во времена их юности почиталось пороком, то, что они всегда либо отвергали, или уж, во всяком случае, скрывали – гомосексуализм, наркотики, изощренный и даже извращенный эротизм, – все это молодежь выставяла теперь напоказ, словно вполне дозволенные забавы; поэтому, сурово порицая современные нравы, старики не могли избавиться от некоторой доли зависти. Новейшие произведения искусства они считали недостойными этого высокого имени, новомодные теории представлялись им выражением варварства. С таким же пренебрежением относились они и к спорту. Зато с явным интересом отмечали они прогресс науки и то с любопытством и наивной гордостью, то с раздражением наблюдали, как техника все больше заполняла их материальный мир. Однако вся эта суэта, утверждали они, убивает радость, и, сожалея об исчезновении привычных им, более спокойных форм цивилизации, они уверяли, окидывая взглядом окружающую жизнь, что весь этот фейерверк долго не продлится и ни к чему хорошему не приведет.

Можно было сколько угодно пожимать плечами, но их мнение было не только извечным брюзжанием стариков: между обществом 1910 года и обществом 1920 года легла более глубокая, более непроходимая пропасть, нежели между обществом 1820 года и обществом 1910 года. С Парижем произошло то, что происходит с людьми, о которых говорят: «Он в одну неделю постарел на десять лет». За четыре года войны Франция состарилась на целый век; возможно, то был последний век великой цивилизации, вот почему ненасытная жажда жизни, отличавшая в те годы Париж, напоминала лихорадочное возбуждение чахоточного.

Общество может быть счастливым, хотя в недрах его уже таятся симптомы разрушения: роковая развязка наступает позднее.

Точно так же общество может казаться счастливым, хотя многие его члены страдают.

Молодые люди возлагали на старшее поколение ответственность за все уже возникшие или еще только надвигавшиеся беды, за трудности нынешнего дня, за смутные угрозы грядущего. Старики, некогда входившие в число двадцати тысяч или еще остававшиеся в числе этих избранных, слышали, как им предъявляют обвинения в преступлениях, в которых, по их мнению, они вовсе не были повинны: их упрекали в эгоизме, в трусости, в непонятливости, в легкомыслии, в воинственности. Впрочем, и сами обвинители не выказывали большого великодушия, верности убеждениям, уравновешенности. Но когда старики отмечали это, молодые вопили: «Ведь вы сами сделали нас такими!»

И каждый человек, словно не замечая сияния, исходившего от Парижа, следовал по узкому туннелю собственной жизни; он напоминал прохожего, который, видя перед собой лишь темную полосу тротуара, не обращает внимания на гигантский ослепительный купол, раскинувшийся над ним и освещающий окрестность на несколько миль вокруг.

2

Задыхаясь, с трудом перемещая свою огромную тушу, мамаша Лашом поднялась по лестнице метро и застыла посреди вокзальной площади.

– Да ты потише, Симон, – прохрипела она. – Мне за тобой не угнаться. Тебе, понятно, не терпится меня спровадить... Но ты все-таки не забывай, у меня ноги-то опухли.

От холода щеки у нее покрылись красными пятнами. Глаза были скрыты набухшими веками, из-под усатой верхней губы вырывались клубы молочно-белого пара и медленно расплывались в морозном воздухе.

Симон поставил чемодан на асфальт и протер очки.

Вокруг них носильщики в синих халатах катили груженные тележки, суетливые пассажиры, кутаясь в пальто, переговаривались, подзывали такси. Автомобили в три ряда стояли вдоль тротуара, и свет, падавший сквозь стеклянный навес вокзала, играл на их никелированных частях.

– Вот, дожила до старости, – продолжала мамаша Лашом, – и в первый раз попала в Париж. А только уж больше не приеду сюда до самой смерти. Замучилась! Везде лестницы: у тебя лестница, в гостинице лестница, в метро лестница – везде... Бедные мои ноги!

Она возвышалась, как гора, равнодушно взирая на окружавшую ее вокзальную суматоху. Была вся в черном. Черное платье, ниспадавшее до пят, и почти такое же длинное черное пальто облекали громадное бесформенное тело; на плечах – черный платок. Даже серьги в ушах были черные – из черного дерева. Голову этого монумента украшала плоская шляпа, напоминавшая маленький венок из черного бисера, какие иногда возлагают на гроб.

Какой-то малыш, которого мать тащила за руку, с изумлением уставился на эту огромную старуху, зацепился ногой за ее чемодан, получил подзатыльник и заревел.

– Пора идти, мать, – проговорил Симон, едва сдерживая раздражение. – Приготовь билет.

Узкоплечий Симон ростом был ниже матери; его курносое лицо скрашивал очень высокий лоб.

Старуха наконец сдвинулась с места, заколыхалась ее грудь, заколыхались бедра.

– Если бы твоя жена захотела, – проговорила она, – я могла бы остановиться у вас. Не было бы лишних расходов и не так бы я уставала.

– Но ведь ты сама видела, какая у нас теснота, – ответил Симон Лашом. – Где, по-твоему...

– Ну, понятно, понятно... А только ты меня не разубедишь. Да уж все равно отцу скажу, что ты счастлив и живешь хорошо... О твоей жене упоминать не стану... По правде сказать, не люблю я твою жену.

Симону хотелось крикнуть: «Да я и сам не люблю ее, даже не знаю, почему я на ней женился!..» Толпа со всех сторон стискивала его, тесно прижимала к матери. Старуха заняла весь проход, где стоял контролер; приподняв подол платья, она неторопливо рылась в кармане нижней юбки, отыскивая билет. Даже ее «воскресный» наряд сохранил запах навоза и прокисшего молока. Симон невольно отодвинулся.

Наконец они вышли на перрон. Паровоз пассажирского поезда тяжело пыхтел, пар из трубы стлался над асфальтом. Окутанная этим теплым белым туманом, мамаша Лашом снова остановилась и сказала:

– И все-таки обидно! Сколько мы жертв ради тебя принесли. Неужели ты не чувствуешь себя счастливым?

– Я вам сто раз говорил, что вы не шли ради меня ни на какие жертвы! – вспыхнул Симон. – Учился я на грошовую стипендию и чуть не подыхал с голоду. Ведь вы за всю мою жизнь не дали мне ни одного су... Впрочем, нет: когда я уходил на военную службу, отец с важным

видом вручил мне пятифранковую монету... И это все... Даже во время войны ты ни разу не прислала мне посылку...

– А как знать-то было наверняка, дойдет ли посылка? Тебя ведь могли убить, что тогда? Пропадай, значит, посылка?

Симон покачал лобастой головой. Гнев его стихал, натываясь на эту вязкую, непроницаемую, извечную преграду. Стоит ли говорить? Запах смазочного масла, дыма и сажи, вырывавшейся из паровозной трубы, еще более осязаемый запах прокисшего молока, тяжесть чемодана, топот спешивших людей, вид этой старухи, доводившейся ему матерью, чувство собственного унижения, оттого что он снова дал втянуть себя в бессмысленный, бесконечный спор, – все было ему противно. А холод, пронизавший его на улице, точно тисками, сжимал виски.

– Да ты на меня не сердись, – продолжала мать, – мы очень даже гордимся тобой. Что правда, то правда. Когда ты задумал учиться, мы ведь не препятствовали. Мы тебя содержали до четырнадцати лет, из последних сил выбивались... Ты же хорошо знаешь, сколько в ту пору за поденщину платили батраку – пятьдесят, а то и пятьдесят пять су... А потом ты уехал, как раз когда в возраст вошел и мог бы отрабатывать свой хлеб. А теперь вот ты живешь хорошо, одеваешься так, как ни твой отец, ни я никогда не одевались...

Она бросила взгляд, в котором сквозили и уважение и упрек, на самое обыкновенное пальто сына, на его синие брюки, уже начавшие пузыриться на коленях.

– ... Так уж ты постарайся посылать нам денег, если можешь, конечно. Все ж таки будет подспорье нам, а главное – твоему бедному брату, ведь мы должны о нем заботиться, ты же знаешь, в каком он состоянии.

– Как ты можешь просить меня об этом?! – возмутился Симон. – Тебе отлично известно, что я с трудом свожу концы с концами, я даже не знаю, удастся ли мне оплатить издание моей диссертации. А вам, слава богу, на жизнь хватает. У вас земли больше, чем вы в силах обрабатывать, и вы бы давно разбогатели, не будь отец таким пьяницей. Зачем же... Зачем попрошайничать?! – снова взорвался он.

Мамаша Лашом приподняла свои дряблые веки, уставилась на сына круглыми тусклыми глазами. Симон подумал, что сейчас на эту великаншу нападет приступ ярости, которая в детстве наводила на него ужас. Но нет, возраст смягчил нрав старухи, годы сделали свое. Она не хотела ссориться с сыном.

– Я ему свое, а он свое, – сказала она со вздохом. – Не понимаем мы больше друг друга. Раз уж ты надумал избрать себе легкое ремесло, пошел бы лучше в священники. Тогда б ты не стал для нас таким чужаком.

Боясь окончательно возненавидеть мать, Симон заставил себя подумать о том, что он, быть может, никогда больше ее не увидит. И поступил как хороший сын, как сын, который, несмотря ни на что, почитает родителей и оказывает им всяческое внимание: он предложил старухе руку, чтобы ей легче было идти.

– Это только городские дамочки под ручку с мужчинами ходят, – запротестовала она. – Я всю жизнь ходила сама, без посторонней помощи и своей привычки не оставлю до гробовой доски.

Размахивая руками, она тяжело двинулась дальше и не произнесла больше ни слова, пока не уселась в вагон. Со стоном вскарабкалась она по ступенькам. Симон устроил мать на жесткой скамье, а чемодан положил в сетку.

– Никто там не тронет? – спросила старуха, с опаской глядя вверх.

– Нет, нет.

Мать посмотрела на вокзальные часы.

– Осталось еще двадцать минут, – пробормотала она.

– Мне пора идти, – проговорил Симон, – я и так уже опоздал.

Наклонившись, он едва прикоснулся губами к ее поросшей седыми волосками щеке. Толстые, заскорузлые пальцы мамыши Лашом впились в запястье сына.

– Не вздумай только снова исчезнуть лет на пять – ведь ты так обычно делаешь, – проговорила она глухо.

– Нет, – ответил Симон. – Как только дела позволят, обязательно приеду к вам в Мюро. Обещаю тебе.

Мать все не выпускала его руки.

– А все-таки, – сказала она, – посылай ты нам кой-когда денег, хоть самую малость... Мы тогда по крайности будем знать, что ты о нас изредка вспоминаешь...

Когда Симон пошел по перрону к выходу, старуха даже не поглядела ему вслед. Она уже погрузилась в свои мысли, потом вытащила из-под верхней юбки желтый платок и, скомкав его, приложила к глазам.

3

На улице Любека под окнами небольшого особняка был настлан толстый слой соломы, чтобы заглушить шум колес. Обычай расстилать солому перед жилищем знатных людей, пораженных тяжелым недугом, уходил в прошлое вместе с лошадьми; он сохранился лишь в обычае нескольких старинных семей как торжественный обряд – предвестник близких похорон.

С минуту помедлив, Симон Лашом нажал чугунную кнопку звонка.

Возле дома стоял большой черный автомобиль с тускло светившими фарами; неподалеку, разминая ноги, прохаживался шофер.

Входная дверь отворилась. Старый слуга согнулся в поклоне при виде молодого человека.

В то же мгновение на лестничной площадке показалась Изабелла, племянница поэта.

– Идите скорее, господин Лашом, – проговорила она, подбирая упавшую на лоб прядь волос. – Он вас ждет.

Изабелле д'Юин было лет тридцать. На ней было темное шерстяное платье. Ее смуглое некрасивое лицо с острым подбородком осунулось от усталости, под глазами залегли глубокие тени.

Симон бросил на стоявший в передней огромный ларь в стиле Возрождения свое серое пальто с помятыми отворотами; тут уже лежали дорогие пальто, подбитые черным шелком, и шубы с воротниками из выдры, украшенные ленточкой Почетного легиона или розетками других орденов. Лашом торопливо протер очки.

Сквозь полуоткрытую дверь маленькой гостиной он разглядел двух важных худых стариков; они сидели, вытянув длинные ноги в остроносых ботинках.

– Он в полном сознании и сохранил ясность ума, – сказала Изабелла, поднимаясь по лестнице впереди Симона.

Достигнув второго этажа, они прошли через рабочий кабинет, где Симону так часто приходилось сидеть; тут было много китайских вещей: шкатулки, шкафчики, ширмы красного лака с причудливыми черными цветами; повсюду лежали книги – роскошные фолианты соседствовали с брошюрами, запылившиеся, истрепанные тома перемежались с новенькими, еще не разрезанными, валялись стопки каких-то бумаг и гравюры. Две большие увядшие хризантемы, должно быть, стояли уже несколько дней, ибо вода в вазе помутнела.

В соседней комнате умирал поэт Жан де Ла Моннери.

Его спальня была обставлена в стиле ампир; бархатная обивка мебели, тяжелые портьеры и гардины были блекло-желтого цвета, кусок шелка того же цвета служил абажуром для лампы в изголовье кровати и смягчал свет. На мраморной доске комода высился бюст поэта, выполненный в 1890 году Ривольта; формовщик придал материалу вид бронзы, но ссадина на носу отсвечивала белым, и становилось ясно, что бюст гипсовый. Стоявшие на камине большие

часы в мраморном футляре звонко отсчитывали секунды. До самой последней минуты, пока поэт не одолела болезнь, он работал у себя в спальне; стоявший возле окна ломберный столик с инкрустацией был завален листами бумаги, письмами, книгами.

В комнате царил застоявшийся запах болезни и старости, восточного табака, росного ладана для ингаляций, испарявшегося спирта, сладковатых микстур – запах одновременно едкий и приторный; воздух был нагрет раскаленными металлическими шарами, нарочно положенными в камин.

На широкой кровати со столбиками, украшенными бронзовыми кольцами, неподвижно лежал Жан де Ла Моннери. Глаза его были закрыты, под спину подложены подушки. Кожа на лице приобрела лиловатый оттенок, впалые щеки поросли седой щетиной, издали напоминавшей рассыпанную соль. По белой подушке извивалась длинная прядь волос, обычно покрывавшая лысое темя, из влажного воротника ночной сорочки выступала изборожденная глубокими морщинами худая шея. Простыни были скомканы.

Человек лет шестидесяти, в щегольском смокинге, с надменным и самодовольным выражением лица и тронутыми сединой волосами, гладко выбритый и румяный, сжимал пальцами запястье больного, не отрывая глаз от бегущей секундной стрелки на своих золотых часах.

Когда Симон приблизился к кровати, Жан де Ла Моннери приподнял веки. Блуждающий взгляд его серых глаз (левый глаз косил) остановился на вошедшем.

– Друг мой... как мило с вашей стороны, что вы навестили меня, – глухо произнес поэт; хриплое дыхание с шумом вырывалось из его груди.

Как всегда учтивый, он захотел представить посетителей друг другу:

– Господин Симон Лашом, молодой, но необыкновенно талантливый ученый...

Человек в смокинге и тугом крахмальном воротничке слегка кивнул и произнес:

– Лартуа.

– Нынче утром – исповедник, – задыхаясь, проговорил поэт, – вечером – вы, мой врач и верный друг, а вот теперь – мой ученик и, я бы сказал, мой снисходительный критик... А сверх того возле меня неутомимо бодрствует добрый ангел, – прибавил он, обращаясь к племяннице. – Чего еще может пожелать умирающий?

Он вздохнул. Жилы на его шее напряглись.

– Полно, полно, все обойдется. Теперь, когда жар спал... – проговорил Лартуа, и в его голосе зазвучали профессионально бодрые интонации, не вязавшиеся с выражением лица. – Вы еще нас удивите, дорогой Жан!

– Масло в лампаде иссякло, – прошептал поэт.

В комнате на мгновение наступило молчание, слышно было только, как отсчитывает секунды стрелка мраморных часов.

Сиделка-монахиня, подобрав кверху и заколов булавкой края своего огромного чепца, кипятила в ванной комнате шприцы.

Левый глаз умирающего вопросительно уставился на Симона.

Вместо ответа молодой человек извлек из кармана пачку типографских оттисков.

– Когда она выйдет в свет? – спросил Жан де Ла Моннери.

– Через месяц, – ответил Симон.

Смешанное выражение гордости и печали появилось в глазах поэта и на мгновение оживило синюшное лицо.

– Этот юноша, – обратился он к врачу, – посвятил моему творчеству свою докторскую диссертацию... всю целиком... Послушайте, Лартуа, я себя прекрасно чувствую, отправляйтесь на свой званный обед. Славная вещь эти обеды! А потом, когда я уже буду...

Затянувшаяся пауза стала невыносимой.

– ...вы по праву займете освобожденное мною кресло, – закончил поэт.

Профессор Лартуа, член Медицинской академии, который в лице Жана де Ла Моннери терял одного из наиболее надежных своих сторонников при ближайших выборах во Французскую академию, огляделся вокруг и пожалел, что эти слова, прозвучавшие как торжественное напутствие, были произнесены почти без свидетелей. И он впервые обратил внимание на дурно одетого молодого человека с непропорционально большой головой, стоявшего рядом с ним и близоруко щурившего глаза, скрытые стеклами очков в металлической оправе; словно приглашая всех разделить свое восхищение умирающим, Лартуа бросил на невзрачного посетителя взгляд, означавший: «Какой удивительный ум, не правда ли? Какая возвышенная душа! И это в преддверии смерти!»

Он издал короткий смешок, как будто речь шла об обычной шутке.

– Оставляю вас в обществе вашей славы, – произнес он, дружески положив руку на плечо Симона. – Я заеду еще раз в одиннадцать часов.

И Лартуа вышел в сопровождении Изабеллы.

Длинными пальцами в темных пятнах Жан де Ла Моннери перебирал пачку оттисков.

– Как трогательно!.. Как трогательно!.. – прошептал он.

Вновь он медленно перевел взгляд на молодого человека, потом глаза умирающего затуманились.

– Как прекрасно это звучит: *слава*, – едва слышно произнес он.

4

Лартуа спускался по лестнице слегка подпрыгивающей походкой, высоко подняв голову.

– Доктор, сколько ему еще осталось жить? – вполголоса спросила Изабелла, взглянув на профессора блестящими от слез глазами.

– Все зависит вот от этого, – ответил Лартуа, прикасаясь к левой стороне груди, – но, полагаю, можно говорить лишь о нескольких часах... Ведь сегодня он уже дважды терял сознание...

Они вошли в маленькую гостиную. Урбен и Робер де Ла Моннери поднялись им навстречу.

– Я могу только повторить вам то, что сейчас говорил Изабелле, – сказал Лартуа. – Роковой исход может наступить в любую минуту. Воспаление легких удалось приостановить, однако сердечная мышца... сердечная мышца... Наступают минуты, когда наша несовершенная наука уже не в силах ничего сделать. Если речь идет о таком необыкновенном человеке и друге, то это поистине ужасно... Дорогая девочка, не найдется ли у вас листка бумаги?

– Для рецепта? – спросила Изабелла.

– Нет, для бюллетеня о состоянии здоровья.

Братья умирающего молчали. Маркиз дважды или трижды покачал головой, окаймленной венчиком белых волос.

Генерал Робер де Ла Моннери, самый младший из четырех братьев Ла Моннери, подышал на красную розетку, украшавшую лацкан его сюртука, словно хотел сдуть пылинку.

Лартуа писал: «Вечерний бюллетень».

Внезапно рука его остановилась. В глазах вспыхнули два странных ярких и неподвижных огонька: Изабелла склонилась над столом, ее немного низкая грудь отчетливо вырисовывалась под шерстяным джемпером, утомленное тело издавало слабый аромат. Лартуа попытался заглянуть в глаза Изабелле, но она, всецело поглощенная горем, этого не заметила.

Присутствующим казалось, что Лартуа размышляет. Два неподвижных огонька медленно погасли, и врач продолжал выводить своим убористым и острым почерком: «Работа органов дыхания значительно улучшилась. Наблюдается частичная сердечная недостаточность. Прогноз пока неясен».

«Это удовлетворит всех, – подумал он, – профанов и моих коллег. Смерть не покажется неожиданной...»

Он подписался: «Профессор Эмиль Лартуа».

Постоянно видя свою фамилию в газетах, когда речь шла о знаменитых людях, находившихся на смертном одре, он чувствовал, что и сам становится знаменитым.

Лартуа направился в переднюю, надел шубу, поданную лакеем, натянул на красивые холевые руки замшевые перчатки и направился к черному лимузину, стоявшему у подъезда.

Несколько минут спустя сиделка прошла по длинному коридору и постучала в дверь, которая вела на половину госпожи де Ла Моннери. Не услышав ответа, она постучалась вторично.

– Войдите, – раздался нетерпеливый голос.

Госпожа де Ла Моннери сидела за столом, на котором лежали цветные карандаши и стояли баночки с красками, и лепила из хлебного мякиша куколок, а затем одевала их в платья из серебряной бумаги. Ее бархатный, подбитый ватой халат ниспадал на пол. Пышные седые волосы были чуть подкрашены слабым раствором синьки.

– Слушаю вас, сестра, – сказала она. – Говорите громче.

– Сударыня, ваша племянница поручила мне... – начала монахиня.

– Ах, моя племянница? – произнесла старая дама, резко передернув плечами.

Выслушав монахиню, госпожа де Ла Моннери заявила с каменным выражением лица:

– При жизни он легко обходился без меня, отлично обойдется и перед смертью. Он причинил мне немало огорчений.

Затем добавила:

– Дочь уже предупредили?

– Да, сударыня, утром ей послали телеграмму.

– Значит, все идет как полагается, – заключила супруга поэта.

И она возвратилась к своим танцовщицам и пастушкам величиною с ноготок.

А в это время на первом этаже, в кухне, сидел, уронив руки на колени, старый лакей, в тот день облачившийся в поношенные брюки хозяина дома. Он то и дело вставал и подходил к приглушенно звонившему телефону (в аппарат был предусмотрительно заложен лоскут материи) или отпирал входную дверь, чтобы впустить запоздалого посетителя, желавшего оставить визитную карточку и осведомиться о состоянии больного. Эти ночные визиты были последним отблеском полувековой литературной славы Жана де Ла Моннери.

Заплаканная кухарка готовила легкий ужин – «ведь не могут же братья господина графа сидеть всю ночь без еды!»

Старый Урбен сказал, обращаясь к собравшимся в маленькой гостиной:

– Как быть с похоронами? Трудно принять в замке Моглев столько людей. И помимо всего прочего, это слишком далеко.

– У д'Юинов есть фамильный склеп на Монмартрском кладбище, так будет проще. Думаю, что Жюльетта не станет возражать, – откликнулся генерал.

Генерал был ранен на войне, одно колено у него не сгибалось, и он сидел, вытянув перед собой прямую, как палка, ногу.

Наступило молчание, слышались только шаги сиделки, возвращавшейся по коридору от графини.

Затем старший из братьев произнес:

– Не по душе мне это кладбище.

– Но ведь его оставят там лишь на время! – заметил младший Ла Моннери.

5

Жан де Ла Моннери чувствовал, что очки слегка давят на переносицу. Все его ощущения были теперь приглушены.

Лишь одно оставалось отчетливым и единственно важным: казалось, чья-то невидимая рука забралась в грудь под левую ключицу и не переставая сжимает сердце. Он чувствовал, как отчаянно трепещет его жизнь, зажатая этой рукой и ниоткуда не получающая помощи.

Перед ним на пюпитре, придвинутом к самым глазам, лежала печатная диссертация: «Жан де Ла Моннери, или Четвертое поколение романтиков».

В последний раз он вдыхал столь хорошо знакомый запах чуть влажной бумаги и свежей типографской краски, но запах этот казался больному скорее далеким воспоминанием, а не реальностью; рука его медленно перелистывала страницы – их было по шестнадцати в каждой пачке, составлявшей печатный лист. Взгляд скользил по ровным строкам; умирающий как будто хотел проникнуть в приговор грядущего. В его слабеющем мозгу это слово «грядущее» проносилось, подобно комете, которая оставляет светящийся след над беспредельными, темными, еще бесформенными материками.

Он понимал, что подошел к самому краю бездны по имени Небытие. Ей суждено навеки поглотить его, и от личности поэта Ла Моннери на земле останется лишь то, что смогут сохранить труды, подобные этой диссертации, – беглое изображение, плоское, как офорт, безжизненное, как гипсовый бюст, лживое, как история.

Неизбежная узость, ограниченность всякого исследования с особой силой заставила его почувствовать всю безмерность того, что должно было уйти вместе с ним. Сколько раз его наполняли восторгом внезапные и яркие озарения, сколько раз его мысль, блуждая по бесконечным лабиринтам, казалось, вот-вот отыщет ответ на извечные вопросы и сколько раз с таким трудом обретенная уверенность неумолимо исчезала! И теперь вся жизнь ума и души, какую не выразишь словами, должна была безвозвратно исчезнуть, раствориться без остатка во Вселенной. А постоянное, почти врожденное удивление, вызываемое мыслью о том, что мир столь велик, а человеческие деяния столь ничтожны! Кому дано воссоздать все это?

Только он один мог бы сказать, чем и как жил, к каким источникам припадал. Только он один знал, что принадлежит к числу тех немногих людей, которые отважились дойти до крайних пределов, огражденных невидимой стеной; он, Жан де Ла Моннери, почти каждый день наткнулся на преграду из черного мрамора, замыкающую область сознания, подолгу бродил вдоль этой стены в поисках выхода, пытался взбираться на нее, заглянуть в сферу бесконечного...

«Именно благодаря этим мгновениям, – подумал он, – я и стал великим человеком, да, только благодаря им... Не случайно бывали ночи, когда я терял сознание за письменным столом».

И все же – вопреки этим мыслям – он созерцал сквозь очки свой образ с тихой, снисходительной улыбкой, с невольным удовольствием, какое испытывает каждый человек, глядя на свой портрет.

И как сквозь слой ваты, донесся до него собственный голос:

– Отлично, отлично... Просто поразительно.

Стеснение в груди на минуту ослабело, словно рука, сжимавшая сердце, пошевелила онемевшими пальцами, затем безжалостные тиски сомкнулись еще сильнее.

«Не надо думать так напряженно, – сказал себе умирающий, – не надо доходить до черной стены...»

Он продолжал перелистывать страницы диссертации, и имя, дата или заглавие стихотворения то и дело вызвали в памяти далекое прошлое. Перед его мысленным взором внезапно

вставали воспоминания, ранее скрытые, погребенные под глубоким слоем жизненных впечатлений.

Жан де Ла Моннери вновь видел юношу в светлых панталонах и вышитом жилете; юноша этот обожал верховую езду, отлично фехтовал и презирал все окружающее. Дальнейшая жизнь подтвердила, что он был прав в своем презрении! Юноша надевал по вечерам сорочки с накрахмаленным, плоеным жабо и курил длинные итальянские сигары с воткнутыми в них соломинками, часто бывал у Леконта де Лиля и чувствовал себя в силах создать великое произведение, способное жить в веках. До сих пор еще в ящике комода, на котором стоял его бюст, хранились две или три сорочки тех времен, они уже давно стали ему тесны и совсем пожелтели!

На озеро, как лист, слетает с ветки птица...

Поэт почувствовал гнев и отвращение: этой строкой, бросившейся ему в глаза, когда он переворачивал страницу, начиналось стихотворение, принесшее двадцатичетырехлетнему юноше славу. «В то время, – писал Лашом, – еще можно было стать известным, написав лишь одно стихотворение». Да, именно оно и вошло во все антологии, его читали на всех литературных утренниках, приводили в письмах все поклонницы, комментировали все салонные льстецы. Неужели он, Жан де Ла Моннери, за целую жизнь не написал ничего более важного, более значительного? Неужели все девять томов его поэтических произведений были столь невесомы, что можно было беспрестанно, на протяжении всего жизненного пути и вплоть до самой могилы ссылаться все на те же тридцать небрежно написанных стихотворных строк, которые ныне даже он сам больше не считал дерзкими? Теперь они представлялись ему попросту старомодными. О ленивая публика, упрямо признающая лишь творения юности! О скупцы, не желающие вновь выражать свой восторг!

Да и сюжет этого стихотворения был позаимствован у Сюлли-Прюдом. Как-то раз они беседовали после обеда. Сюлли рассказывал о замыслах, роившихся в его голове, и Ла Моннери на лету подхватил высказанную им идею. Заметил ли кто-нибудь заимствование? Да, Лашом указывал на близость темы, но, по его словам, автор «Напрасной нежности» был вдохновлен Жаном де Ла Моннери и в том же году обратился в своем творчестве к центральной теме стихотворения «На озеро, как лист...».

Сюлли-Прюдом... Сперва друг, затем раздраженный соперник, почти враг... Что пользы восстанавливать истину? Он, Ла Моннери, ничем ему не обязан.

– У этого Лукреция буржуазии не имя, а какое-то нелепое младенческое прозвище, – чуть слышно прошептал умирающий.

Он чувствовал, что ему не следует раздражаться – боль под ключицей становилась от этого сильнее.

И все же, прочтя название главы «Предшественник символистов», он не мог удержаться от возмущенного жеста – казалось, он одним взмахом руки отметаает всех своих последователей, затем он презрительно произнес:

– Все это эпигоны!

С жадностью биографа Симон Лашом напряженно прислушивался к словам, которые слетали с уже посиневших губ поэта, и молча повторял их про себя, чтобы не забыть.

Но вот взгляд Жана де Ла Моннери привлекло приведенное целиком стихотворение, заглавием которому служило короткое посвящение: «Моей подруге, 16 января 1876 года». Серые глаза долго, так долго не отрывались от этих строк, что Симон подумал: «Должно быть, старик задремал». Но нет, сквозь стекла очков был виден напряженный взор поэта, он тщетно пытался проникнуть в прошлое и вырвать оттуда лицо или имя. Ведь если тут вместо заголовка поставлена дата, значит, он желал увековечить какой-то знаменательный день... Ему так хотелось вспомнить какую-либо приметку: распущенные волосы, аромат духов, адрес – хоть что-нибудь. Но все было напрасно: сохранилась лишь дата – больше ничего. Какая досада!.. Семь-

десять шестой год... Год, когда у него было... четыре любовницы. Еще до связи с Кассини или в самом начале этой связи... Теперь Кассини со всеми ее воплями, неистовыми сценами, драмами казалась ему такой чужой, далекой, неживой, словно он никогда и не был с нею близок... Во всяком случае, это происходило задолго до его брака с Жюльеттой, брака по рассудку, на котором настоял Урбен... «Если ты будешь продолжать в том же духе, – сказал ему старший брат, – у тебя скоро не останется ни гроша. Самое лучшее для тебя – жениться на этой крошке, Жюльетте д'Юин». Тысяча восемьсот семьдесят шестой – великолепный год! Ему было тогда тридцать лет.

Умиравший снова вернулся к действительности.

– Сколько вам лет, Симон? – глухо спросил он.

– Тридцать три.

Старик вздохнул. Он почти не различал в полумраке Изабеллу и сиделку, которые неслышно двигались по комнате.

В это мгновение смотревший на него Симон с завистью подумал: «В моем возрасте Ла Моннери был уже знаменит, успел немало создать, и все женщины поклонялись ему». И в утешение сказал себе: «Я принадлежу к числу людей, к которым известность приходит поздно».

– У меня неостанет времени... – прошептал старый поэт, грустно покачав головой.

Симон и Изабелла решили, что речь идет о чтении диссертации.

– Вы устали, дядюшка? – спросила Изабелла. – Я уберу...

– Нет, нет, не то, – проговорил умирающий, ухватившись за пюпитр. – Нет... Симон, прошу вас... мои бумаги, мои черновики... заклинаю вас... никаких писем раньше чем через пятьдесят лет.

В глубоком волнении Симон молча наклонил голову в знак согласия. Изабелла отвернулась, по ее лицу ручьем текли слезы. Найдя какой-то предлог, она поспешила выйти из комнаты: у нее не было сил наблюдать эту агонию при полном сознании.

Воспользовавшись тем, что племянница вышла, а сиделка чем-то занята в ванной, старик шепнул Симону:

– ...чем писать.

Симон подал ему листок бумаги и свою авторучку, невольно подумав при этом: «Жан де Ла Моннери напишет свои последние строки моей ручкой».

Перо плохо слушалось поэта. Неразборчивым почерком, царапая бумагу, он с трудом вывел: «Я Вас очень любил». Поставив вместо подписи большую букву «Ж», старик дрожащими руками сложил листок, написал на нем: «Госпоже Этерлен» – и вручил записку Симону, улыбнувшись ему, как сообщнику: поэт даже не указал адреса.

– Благодарю, – прошептал он.

Заметив, что племянница вернулась в комнату, он вновь устремил взор на пюпитр.

На пепелище чувств какой-то голос тайный...

Умиравший совсем обессилел, и теперь буквы прыгали у него перед глазами, слова казались темными пятнами на белой бумаге, и все же какое-то чутье помогло ему разобрать собственные стихи, написанные почти полвека назад:

На пепелище чувств какой-то голос тайный
Зовет вернуться нас, отбросив бремя лет,
Вернуться для того, чтоб этот час печальный
Когда-нибудь тебя порадовал, поэт...

Значит, уже в то время он сознавал...

И внезапно в его мозгу будто вспыхнуло пламя. Мысли путались, и вместе с тем ему казалось, что еще никогда в жизни он так ясно не понимал, так логично не мыслил, хотя в действительности это ощущение было лишь иллюзией, миражем; в памяти всплывали различные образы и впечатления, переплетаясь и дополняя друг друга; тут было все: и ученик коллежа иезуитов в форменной курточке, и молодой человек в вышитом жилете, и Виктор Гюго, стоящий на площади Вогезов, с лицом, обрамленным библейской бородой, и ночные обмороки за письменным столом, и вопли Кассини, и уверенность в том, что творец всегда выше своего творения – мысль, помогавшая примириться с Богом... Он видел толпу на Брюссельской площади, слышал громовой гул аплодисментов и как будто различал вдали очертания того произведения, которое он вечно провидел, по сравнению с которым все его стихотворения и поэмы показались бы лишь капителями колонн и барельефами будущего храма; это совершенное творение ответило бы на все вопросы, возвышалось бы, подобно высокой башне, позволяющей заглянуть в бесконечность, явилось бы ключом от потайной двери в черной стене; после него можно было бы и не создавать ничего больше... А между тем огненная рука продолжала сжимать его сердце, он смутно угадывал очертания материков будущего, но сами они были теперь невидимы в кроваво-красном сиянии бесчисленных звезд; перед глазами плясали узкие языки пламени, перевивавшиеся, как золотые нити, которыми был расшит его мундир академика, – нет, то были скорее горящие фитили; затем перед ним возникло какое-то гигантское дерево с золотой листвой... Но вот все это стремительно рухнуло, рассыпалось мириадами искр. То, что происходило в его лихорадочно пылавшем мозгу, можно было сравнить со зрелищем горящего театра, на сцене которого актер торопится исполнить все свои роли подряд!

Уже несколько минут старик метался, произнося невнятные фразы; наконец Симон уловил:

– Сколько безвозвратно утраченных мыслей приходится на одну уцелевшую!

Затем прозвучали слова:

– Сон Орфея...

А потом стихотворная строка:

...Превыше всяких благ божественный покой.

Старая машина по изготовлению александрийского стиха сработала сама собою, перед тем как навсегда остановиться.

Сиделка приблизилась к кровати и сделала умирающему укол.

Он вытянулся и замер. И уже не заметил, как убрали поупитр, – теперь туман расстилался у самых его глаз.

Таинственная рука под левой ключицей разжалась, он уже почти не ощущал боли. Но нельзя было допустить, чтобы боль вовсе ушла. Ведь жизнь уходила вместе с нею, и умирающий в отчаянии ждал, когда же вернется боль. Ему хотелось кашлянуть, но он не решался, боясь потерять сознание, и предпочитал хрипло дышать, ибо эти хрипы, как ни были они мучительны, все же свидетельствовали о том, что он еще живет.

Ему казалось, что его чувства, речь, ход мыслей, память держатся теперь на тонкой ниточке – тонкой, как паутинка кокона. Одно неосторожное движение, одна слишком упорная мысль – и паутинка оборвется.

А тогда хрупкие частицы жизни разлетятся в разные стороны, как разлетаются колосья внезапно развязанного снопа; тогда все эти невидимые и невесомые колесики станут бесшумно вращаться в различных направлениях, не касаясь друг друга. Пожар в его мозгу потух, остался лишь пепел, и одно дуновение могло развеять его.

Жан де Ла Моннери снова услышал свой тихий голос:

– У меня неостанет времени закончить...

Он знал: ему уже не дано увидеть, как распахнется дверь в черной стене.

Нестерпимо хотелось спать...

Чья-то рука коснулась его лица, и он почувствовал, что очки уже не давят на переносицу.

6

Братья поэта вошли в комнату и сели поодаль. Генерал незаметно зевнул, посмотрел на часы, подул на розетку ордена.

При их появлении Симон поднялся, освобождая место у постели, но Урбен движением руки остановил его и прошептал:

– Сидите, сидите.

Каждый раз, когда умирающий, не приходя в себя, начинал хрипеть, все поднимали головы, но сиделка отрицательно качала головой, давая понять, что это еще не конец.

Внезапно в начале одиннадцатого поэт приподнялся на своем ложе. Рука его скользнула по простыне, нащупала руку Симона и вцепилась в нее. Лицо старика побелело. Косящие глаза блуждали, один глаз смотрел прямо на Симона, но, должно быть, не видел его. Казалось, умирающий движется к пропасти, не будучи в силах остановиться. Потом в горле у него заклокотало, он всхлипнул, и голова запрокинулась.

Сиделка схватила шприц и вонзила иглу в уже бездыханное тело.

Симон не мог бы сказать, сколько времени он неподвижно созерцал остановившиеся серые глаза, видневшиеся из-под полуприкрытых век. Внезапно в силу какой-то необъяснимой мимикрии он почувствовал, что и у него самого сердце забилося слабее, на мгновение ему даже показалось, будто он теряет сознание. Симон Лашом заставил себя несколько раз глубоко вздохнуть.

Он подумал, что именно ему следует закрыть глаза умершему, ведь именно к нему, Симону Лашому, был обращен последний, так и оставшийся неразгаданным призывный взгляд поэта. Со всей доступной ему почтительностью он собрался выполнить свой долг. Но из широкого белого рукава сиделки тут же высунулись два загрубевших коротких пальца, и она быстрым, привычным движением прикрыла покойному веки. Затем монахиня осенила себя крестом, тяжело опустилась на колени, и некоторое время в комнате не слышно было ничего, кроме тиканья часов на камине.

Наконец Урбен де Ла Моннери произнес:

– Бедный Жан! Вот и свершилось. Первый из нас четырех.

Он как-то сразу поник. Глаза его покраснели, и он долго не поднимал их от ковра.

Второй из братьев, Робер, генерал, машинально достал сигарету, поднес было ее ко рту, но устыдился и поспешно сунул в карман.

– Ему было двенадцать лет, когда ты родился, – произнес Урбен, глядя на генерала. – Мы с ним вместе отправились смотреть на тебя в колыбели. Я отлично помню.

Генерал кивнул головой с таким видом, словно и он это помнил.

Вдруг кто-то толкнул Симона в грудь, и он ощутил чье-то жаркое дыхание и услышал громкие всхлипывания. Изабелла прижалась к нему, бормоча:

– Бедный дядюшка... бедный дядюшка... Вам он обязан своим последним счастливым мгновением.

И горячие слезы обожгли шею Симона.

– Пожалуй, пора обрядить усопшего, – сказала сиделка, вставая.

– Я помогу вам, – прошептала Изабелла. – Да-да, я так хочу... Это мое право.

Мужчины вышли из комнаты, движимые не столько уважением к смерти, сколько страхом перед ней.

Спускаясь по лестнице, Симон представил себе, как две женщины снимают белье с худого и длинного старческого тела и протирают его ватой с такой же осторожностью, с какой протирают тело новорожденного.

* * *

Полчаса спустя в ногах и у изголовья покойника уже стояли зажженные свечи; веточка букса окунала сухие листья в блюде с водой. В углу комнаты оставили гореть лампу – свечи не могли побороть темноту.

Под простыней, облаченный в чистую ночную сорочку, спал вечным сном Жан де Ла Моннери, в скрещенные на груди руки было вложено распятие, нижнюю челюсть поддерживала повязка.

Длинный профиль поэта отчетливо выступал из мрака на фоне желтой стены. Одинокая прядь волос, как и при жизни, прикрывала темя. Кожа на лице натянулась и приобрела оттенок розоватого мрамора, морщины разгладились. Лицо словно помолодело, на нем застыло выражение спокойного презрения, как будто усопший мог еще что-то чувствовать и выражал свое пренебрежение к тем суетным знакам внимания, которыми его окружали после смерти. Все близкие собрались у смертного ложа поэта.

В комнату уверенной поступью, держась подчеркнуто прямо, вошла госпожа де Ла Моннери. Она приблизилась к кровати, четырежды помахала веточкой букса над неподвижным телом мужа и равнодушно изрекла:

– У него хороший вид.

После чего удалилась.

Профессор Лартуа приехал чуть позже одиннадцати. Дверь ему отперла кухарка: старый Поль, подавленный горем, был не в силах двинуться с места.

– Господин граф скончались, – доложила кухарка.

Лартуа, не снимая шубы, прошел в комнату поэта. Чтобы засвидетельствовать смерть, он приблизился к покойнику, приподнял пальцем веко, тут же опустил его и произнес:

– Это произошло еще быстрее, чем я предполагал.

Затем он увлек Симона Лашома в коридор и попросил рассказать о последних минутах Жана де Ла Моннери.

– Прекрасная кончина, необыкновенная кончина! – прошептал Лартуа. – Дай бог каждому встретить с таким достоинством свой последний час.

Когда Симон повторил слова поэта: «У меня не останется времени закончить...» – Лартуа заметил:

– Он, без сомнения, слагал какие-нибудь стихи. Видите ли, сознание стариков концентрируется на том, что было их главным жизненным делом. Во всех остальных областях их память, способности, чувства слабеют, как бы угасают. Так, например, впавший в детство математик не теряет умения интегрировать. Дольше всего мы сохраняем знания, связанные с нашей профессией. Если бы вы спросили нашего друга перед смертью о том, как зовут его дочь, он, возможно, не мог бы вам ответить, но он беседовал с вами о Сюлли-Прюдоме, а со мной – об Академии... Да, это так, – прибавил он. – Все дело в работе полушарий... или в чем-то еще, что выше нашего понимания.

– Господин профессор, – запинаясь, начал Симон, – знаете ли вы... знакомы ли вы с госпожой Этерлен? Где бы я мог получить ее адрес?

– О да, это весьма деликатная мысль, – сказал Лартуа, – я и сам нанесу ей визит. Бедняжка... Он говорил о ней?.. Вам нужен ее адрес, подождите...

Он достал записную книжку.

– Булонь-Бийанкур, улица Тиссандр, двенадцать... До свидания, друг мой, мы с вами еще увидимся. Непременно.

– Буду очень рад, профессор, – искренне отозвался Симон.

Через несколько минут появилась госпожа Полан, маленькая женщина с еще гладкой кожей: ее привел сюда безошибочный инстинкт. На голове у нее красовалась старая шляпка, поверх пальто она надевала черную горжетку из кроличьего меха. На правой щеке возле самого подбородка у нее была бородавка, поросшая светлыми волосками. Семейная жизнь госпожи Полан сложилась не слишком счастливо. Она усердно посещала церкви, по целым часам простаивала возле катафалков с горящими свечами, и от этого на ее щеках постоянно горел лихорадочный румянец, а от одежды исходил запах ладана.

В семье де Ла Моннери она время от времени выполняла роль добровольного секретаря, и когда кто-нибудь спрашивал: «Сколько же теперь может быть лет Полан?» – то обычно отвечали: «Постойте, впервые она появилась у нас в девяносто втором году...» Чаще всего Полан приходила в дни траура.

Не успела она дойти до середины лестницы, как уже поднесла платочек к глазам. Со скорбным видом оглядела присутствующих, затем подошла к постели, опустилась на колени и принялась молиться, беззвучно шевеля губами; поднявшись с колен, она заключила в объятия Изабеллу, назвавшую ее «милой Полан»; затем с непостижимой быстротой осушила слезы и немедленно приступила к привычной ей роли жука-могильщика.

Она не могла себе простить, что опоздала. Обряжать покойников было ее излюбленным делом. И Полан тут же поспешила наверстать упущенное, благо предстояло еще облачить усопшего в парадный костюм. Понизив голос, она с гордостью объявила:

– Я умею брить умерших.

Непрерывно заверяя, что она готова взять на себя все хлопоты, дабы родные могли без помехи предаваться скорби, она тут же увлекла братьев поэта в угол и начала с ними шушукаться. Старый Урбен и генерал напряженно слушали, морщились и время от времени утвердительно кивали головой. По словам госпожи Полан, необходимо было облачить покойного в парадный мундир академика и выставить гроб для прощания в большой гостиной. Утром она отправится в мэрию и сделает объявление о смерти. Ведь не графиня же станет всем этим заниматься и не бедняжка Изабелла. Она, Полан, сама обо всем договорится и с похоронным бюро. У нее есть свои люди у Борниоля. Она пригласит кого-нибудь из представителей фирмы и подробно обсудит с ним порядок предстоящей церемонии, а затем представит его на утверждение братьям умершего. Дали знать Жаклине? Она, кажется, в Неаполе вместе с мужем? Прекрасно, прекрасно. Что касается лиц, которых надлежит известить о дне погребения, то она, Полан, сохранила список, составленный во время предыдущих похорон, это поможет никого не забыть; кстати, у нее есть и адреса всех родственников. Она ни на минуту не сомкнет глаз, договорится с монахиней о ночном бдении возле тела усопшего; на нее, Полан, можно во всем положиться, она сделает все, что нужно.

7

Симон Лашом возвращался домой пешком через мост Альма и по набережным Сены; температура упала на несколько градусов. Молодой человек слышал, как гулко отдаются его шаги в морозном воздухе. Но он почти не замечал холодного ветра, от которого щипало лицо. За его высоким лбом роились возвышенные мысли.

Он присутствовал при кончине Жана де Ла Моннери, возле умирающего лежала его, Симона, готовая диссертация. Знаменитый поэт обратил к нему свой последний взгляд, сжал его руку в миг расставания с жизнью. Великие люди подают друг другу руку перед лицом вечности. То было знаменательное событие – знаменательное своей предопределенностью. Гени-

альность рода человеческого – величина постоянная, подобно тому как постоянно количество редких газов в земной атмосфере; Симон был уверен, что он составляет частицу этой постоянной величины, принадлежит к числу тех, кто ведет всех прочих смертных по дорогам мечты и деяния.

Этот день был для него решающим, переломным днем; как будто внезапно захлопнулась дверь, замкнув навсегда горестный период жизни, и впереди его ожидало чудесное будущее, полное пока еще не ясных, но, несомненно, значительных событий. Судьба ударила в гонг.

«У меня не останется времени закончить...» У всех не хватает времени закончить свой труд, но его продолжают другие, приходят тебе на смену, двигают дальше общее дело.

Симон с грустью подумал, что дом на улице Любека больше не будет радушным приютом, местом, где его всегда ожидал ласковый прием и дружеское покровительство, – отныне этот дом превратится для него в место воспоминаний и паломничества. Нет! Прежде всего в обитель труда! Великий поэт доверил ему заботу о своих рукописях. Отныне это будет первым делом Симона: он должен с благоговением отобрать самое ценное и подготовить посмертное издание, сохранить все сколько-нибудь важные мысли поэта. Ему вспомнились слова Жана де Ла Моннери об утраченных мыслях. Он приведет их в предисловии. Ибо он напишет это предисловие. И Симон тут же начал сочинять его...

Проходя мимо темного фасада здания Академии, возвышавшегося на небольшой полукруглой площади, он подумал: «Когда-нибудь и я буду заседать в этом здании».

Ему не терпелось поскорее добраться домой, чтобы записать все события, все подробности, все мысли, относящиеся к этому дню, пока они еще свежи в памяти... Но когда он дошел до Латинского квартала и на улице Ломон поднялся на четвертый этаж дома в свою тесную двухкомнатную квартирку, то внезапно ощутил усталость. Его приход разбудил жену; бесцветное лицо ее было некрасиво, глаза опухли от сна, влажные пряди волос прилипли к шее. Плаксивым голосом она пожаловалась, что долго ждала, но затем ее сморила усталость.

В нескольких словах он сообщил ей о том, что случилось.

– Ах, расскажи подробнее! – попросила она.

– Завтра, завтра, а теперь спи.

Он знал, что если заговорит, то ясный, отчетливый ход его мыслей, которые он спешил занести на бумагу, будет нарушен. Симон сел за стол, но за его спиной все время охала и ворочалась в постели жена, в плохо проветренной комнате было душно, и к тому же он так устал – словом, Симон не мог написать ни строчки. Ему захотелось есть. Он встал, принес сухой бисквит, пахнувший мылом, надкусил его и снова присел к столу. С минуту он молча глядел на бумагу, тщетно стараясь придумать первую фразу. Слова сопротивлялись, ускользали. А ведь только что все было так ясно... «Заметки, простые заметки», – думал он, но и это не помогало, дело не двигалось...

Жена громко напомнила ему, что пора спать.

– Уехала твоя мамаша? – спросила она сонным голосом.

– Да-да, вполне благополучно.

Наконец он решил: «Завтра воскресенье, с утра у меня будет достаточно времени».

Но так как отныне Симон уже не отделял историю своей жизни от истории литературы, он решил сохранить для потомства драгоценный документ и старательно вывел чернилами в блокноте следующую фразу: «Нынче вечером я закрыл глаза Жану де Ла Моннери». Под этими словами он поставил дату.

За отсутствием лучшего Симон уже заранее придумывал плоские фразы, фабриковал полуправду.

Наконец он лег в постель и постарался устроиться с краю, на холодной простыне, подальше от спящей жены. Он потушил лампу над изголовьем.

Положив на ночной столик очки, Лашом закрыл глаза и вытянулся; неподвижно лежа на спине с запрокинутой головою, он пытался улечься так, как лежал на смертном одре покойник. Симон силился взглянуть на себя со стороны и старался изобразить на своем широком лице то самое презрительное выражение, какое было у мертвого старика с длинным профилем; и если бы не жаркое дыхание жены, лежавшей в нескольких сантиметрах от него, Симон, пожалуй, достиг бы поставленной цели.

Глава II. Похороны

1

В глубине садика, опустошенного зимними холодами, где над оградой свешивались и выглядывали на улицу голые ветви, приютился простой белый двухэтажный дом.

Мари Элен Этерлен приветливо встретила Лашома.

– Да, да, я уже все знаю... Эмиль Лартуа был так любезен, так внимателен и добр, он мне позвонил и предупредил о вашем визите. И потом, наш дорогой, незабвенный Жан часто говорил о вас, и всегда с большой симпатией... Благодарю, что вы навестили меня.

Она была уже немолода, но Симон затруднился бы определить ее возраст. Вокруг головы у нее была уложена коса пепельного цвета. Юбка серого платья длинна не по моде; отделка корсажа – причудливые рюши из тюля и кружев – подчеркивает стройность белой шеи. Глаза заплаканы, лоб ясный, без единой морщинки, но кожа на лице, еще гладкая и покрытая легким пушком, уже начинает увядать.

Мари Элен Этерлен взяла у Симона листок, прочла его, поднесла к губам, затем закрыла глаза руками и с минуту не отнимала их от лица.

Убранство комнат представляло собой резкий контраст скромному внешнему виду дома. Все здесь ослепительно сверкало; зеркала, позолота, разноцветные витражи, резная мебель, вделанные в стены застекленные шкафы, откуда вырывались игравшие всеми цветами радуги лучи, – все напоминало сказочный испанский или венецианский замок. Казалось, гостиная целиком из стекла; страшно было пошевелиться, чудилось, что достаточно кашлянуть – и все разлетится вдребезги!

– Если бы жена его не была такой злобной, как бы мы были счастливы! – проговорила госпожа Этерлен.

Симон молчал, вся его поза выражала скорбь и внимание.

– Меня даже не допускали к Жану, когда он болел, – продолжала она. – Приходилось узнавать о его здоровье по телефону. Кстати, племянница всецело на стороне тетки. Эти ужасные мегеры терзали Жана до самой смерти.

Все это она произнесла тихим, мягким, неземным голосом; возвышенная душа, по-видимому, не позволяла ей даже возмущаться людской злобой.

Симон не посмел вывести ее из заблуждения, не посмел рассказать, что Жан де Ла Моннери называл свою племянницу «мой ангел» и если перед смертью и чувствовал себя несчастным, то лишь потому, что ему предстояло расстаться с жизнью.

– А ведь он был такой добрый, такой чудесный человек! – продолжала госпожа Этерлен. – Каждый день приезжал сюда, каждый день... Даже во время войны, когда на город сбрасывали бомбы, я слышала, как на улице останавливался автомобиль... То был Жан. Он проделывал далекий путь зачастую лишь для того, чтобы узнать о моем здоровье, убедиться, что мне не страшно... Иногда он приезжал буквально на несколько минут... И всегда он садился в это самое кресло, в котором вы сейчас сидите...

Симон невольно с осторожностью провел рукой по хрупкому подлокотнику кресла.

– Не могу себе представить, что он уже никогда больше не войдет сюда, – снова заговорила госпожа Этерлен, – не появится на пороге, не поправит монокль, не подойдет к своему излюбленному месту... Через несколько месяцев исполнилось бы ровно восемь лет...

Она снова закрыла глаза ладонью, а другой рукой достала из-под диванной подушки батистовый платочек и утерла слезы.

– Простите меня, – прошептала она.

Тем временем Симон подсчитывал в уме: «От семидесяти шести отнять восемь... Стало быть, все началось, когда ему было шестьдесят восемь лет...»

Внезапно она подняла голову и пристально посмотрела ему прямо в лицо; Симон отметил, что ее фиалковые глаза совсем маленькие. Но боже, сколько в них было горя и тоски!

– Вы, конечно, знаете, господин Лашом, что я все бросила ради него... мужа, детей – все! Друзья отвернулись от меня. У меня ничего не осталось. Но вы, тот, кто постоянно был возле него, вы, кому были открыты глубины его мысли, я знаю, вы поймете и даже оправдаете меня... Когда женщина встречает такого человека, как Жан, человека, который господствует над своей эпохой, когда на долю этой женщины выпадает счастье привлечь его внимание, когда он просит у нее хоть немного радости, то она не имеет права... Это ее долг... Ничто больше в счет не идет... Я оставила дом в его вкусе... Мне хотелось, чтобы все здесь пришлось ему по душе... Каждую вещь мы выбирали вместе, Жану был дорог тут каждый предмет. Вот этот столик мы приобрели во Флоренции во время нашего путешествия. Вы, верно, обратили внимание на веера – вон в той витрине, что позади вас? Он обожал веера, он говорил: «Для меня веер – эмблема жизни».

Она встала.

– Я хочу показать вам спальню, – сказала она и легким шагом пошла впереди него.

В эту минуту она выглядела совсем молодой. Поражала ее необыкновенно тонкая талия.

Они вошли в комнату, обтянутую бледно-голубым шелком, по которому были разбросаны золотые цветы. С комода смотрел бюст Жана де Ла Моннери, на сей раз из белого гипса и без царапины на носу.

Кресла были обиты шелком такого же рисунка, как и стены, свет струился из двух небольших алебастровых ламп.

– Жан говорил, что обстановка здесь располагает к работе, – журчал голос госпожи Этерлен. – Нередко после обеда он отодвигал щеточки и флаконы на моем туалетном столике, присаживался и писал.

Она кружила по комнате, поглаживая то спинку кресла, то полированную поверхность стола, то позолоченную птицу на камине. Приблизившись к кровати, она застыла возле нее.

– До самого конца он был чудесным любовником, – произнесла она без тени стыда. – Это тоже одно из счастливых свойств гения.

Симон смущенно перевел взгляд на гипсовое изваяние.

– Да, – промолвила госпожа Этерлен, – он любил, чтобы в комнате, где он жил, стоял его бюст.

Невольно Симон представил себе эту женщину в постели и рядом с ней знаменитого старца, предающегося любви перед собственным изображением. А позавчера он видел этого старца мертвым...

Он вздрогнул и направился к двери.

– И вот теперь, – продолжала госпожа Этерлен, спускаясь по лестнице и останавливаясь на одной из ступенек, – я всего лишилась. Никто больше не придет навестить меня. Мне остается лишь одно: жить воспоминаниями и ради воспоминаний. На мою долю выпало восемь лет счастья. Это так много!.. А теперь все кончилось. Отныне я замкнусь в четырех стенах и стану вести жизнь пожилой женщины... Как вы думаете, сколько мне лет?

Смущение Симона возрастало. Он подумал: «Да лет пятьдесят пять, не меньше». Опасаясь, что в его словах слишком явственно прозвучит желание польстить, он все же решил сбросить лет десять.

– Право, не знаю, – пробормотал он, – сорок пять – сорок шесть...

– Вы великодушнее других. Обычно мне дают пятьдесят. А на самом деле мне сорок три.

По-видимому, госпожа Этерлен не рассердилась, она проводила гостя до самой прихожей и протянула ему для поцелуя руку с бледно-розовыми ноготками; Симон не привык целовать

руку дамам и очень неловко справился с делом, подтянув ее кисть к губам, вместо того чтобы почтительно склониться к ней.

Впервые за все время их разговора на устах госпожи Этерлен появилась легкая улыбка.

– Вы совсем такой, каким вас описывал Жан, – сказала она, – чувствительный, тонкий...

Между тем, находясь в ее доме, Симон произнес всего несколько фраз, причем под конец допустил огромную бестактность.

– Людей, с которыми можно так вот запросто беседовать, не часто встретишь, – добавила она, машинально перебирая пестрые стеклянные палочки в высокой вазе. – Так мы разговаривали с Жаном... Навестите меня, когда вам захочется. Мы будем говорить о нем, я покажу вам его неизданные стихи, они еще до сих пор никому не известны. Приезжайте, когда хотите, я не выхожу из дома.

И, зябко поеживаясь от холодного воздуха, проникавшего из сада, она закрыла дверь.

2

Возвратившись к себе, Симон Лашом увидел два письма, полученные по пневматической почте.

Первое было от главного редактора газеты «Эко дю матен». Оно гласило:

Многоуважаемый господин Лашом!

Профессор Лартуа рекомендовал нам обратиться к Вам как к человеку, который лучше всякого другого сумеет рассказать читателям о последних минутах жизни нашего выдающегося сотрудника г-на Жана де Ла Моннери. Я буду Вам весьма обязан, если Вы пришлете статью в сто пятьдесят строк не позднее полуночи. Надеюсь, Вы найдете достаточным гонорар в двести франков.

Второе письмо прислал сам профессор Лартуа.

Дорогой господин Лашом, – писал Лартуа, – газета «Эко дю матен», владелец которой, барон Ноэль Шудлер, принадлежит к числу моих лучших друзей и доводится, как Вам известно, свекром дочери Жана де Ла Моннери, обратилась ко мне с просьбой срочно написать статью о кончине нашего великого друга. Опасаюсь, что моя статья прозвучала бы слишком профессионально; мне кажется, Вы, как литератор, и притом литератор талантливый, несравненно лучше справитесь с этой задачей; уверен, что в Вашей юной памяти более точно запечатлелись предсмертные слова поэта, которые так взволновали нас обоих. Вот почему я разрешил себе назвать редактору Ваше имя и надеюсь, что появление такой статьи будет бесполезно и для Вас. Примите и прочее...

Читая эти письма, Симон преисполнился гордости. Значит, разговор, который Лартуа завел с ним два дня назад, не был простой данью вежливости. Знаменитый врач счел его достойным написать столь важную статью, это его, Симона, он назвал «литератором, и притом литератором талантливым». Хотя Симон еще ничего не опубликовал и, можно сказать, еще ничего не написал, если не считать диссертации и нескольких университетских работ, столь лестный отзыв привел его в восторг.

Овладевшее им в вечер смерти поэта предчувствие, что он, Симон Лашом, находится на пороге нового этапа своей карьеры, начало воплощаться в жизнь. Одна из трех крупнейших газет просила его о сотрудничестве. Эта статья принесет ему известность... Он уже придумал заглавие.

Наспех пообедав, он попросил жену:

– Свари мне кофе, только покрепче, – и принялся за работу.

Прежде всего он скрупулезно подсчитал количество знаков в газетной строке, чтобы определить, сколько ему надо написать страниц от руки. Шесть страниц! Затем старательно вывел придуманный им великолепный заголовок: «Чему учит нас его кончина». Однако дальше дело не пошло.

Битых полчаса он сидел, вперив взор в чистый лист бумаги, покусывая трубку, то и дело выколачивая ее и опять набивая свежим табаком, протирая очки большими пальцами. Тщетно! Слова бежали от него. Он не мог выразить ни одной мысли. Едва мелькнув, они исчезали, уходили в какие-то зыбучие пески. Кончина... учит... Что это, собственно, значит?.. Обратимся к происхождению слова «поэт». Это тот, кто творит, созидает. Поэт собственной кончины? Какая нелепость! О невыразительность слов, напоминающих маленькие, причудливые, беспорядочно разбросанные, бесполезные камешки, которые не знаешь как употребить! Почему во вступлении к рассказу о смерти этого человека надо сначала определить, что такое поэзия? И Симон сознавал, что никто ничего не поймет в его статье, если он сперва не объяснит, что же такое поэзия.

И снова фразы, возникшие в его голове, когда он шел в ту ночь по пустынному Парижу, ускользали от него.

А часы уже показывали половину десятого. Он принялся беспокойно шагать по своей маленькой квартирке.

– Скоро ли его наконец похоронят, твоего Ла Моннери? – заметила супруга Симона. – Быть может, тогда опять воцарится спокойствие. Все эти старики и мертвецы доведут тебя до неврастения.

– Ивонна! – завопил Симон. – Если ты произнесешь еще хоть слово, я позвоню в газету и откажусь от статьи. И в этом будешь повинна ты. Если хочешь знать, это ты не даешь мне сосредоточиться, я все время ощущаю твое присутствие. Ты обладаешь удивительным свойством – гасить вдохновение, убивать мысль, убивать все!

Ивонна Лашом исподлобья метнула на мужа презрительный взгляд и снова принялась выдергивать нитки из розовой шелковой блузки, делая на ней мережку.

Дав выход своему гневу, Симон почувствовал некоторое облегчение; он опять уселся за стол, набросал начало статьи, разорвал листок и начал сызнова. Когда ему не удавалось выразить мысль, он прерывал нить общих рассуждений и начинал описывать наиболее колоритные подробности последних часов жизни великого человека. «Прославленному медику, находившемуся у его постели, – писал Симон, – он сказал: „Вы по праву займете в Академии мое освободившееся кресло“».

«Это доставит удовольствие профессору Лартуа», – подумал он.

Только теперь Лашом понял то, что любой более опытный или хотя бы более скромный человек понял бы сразу.

В десять минут первого Симон был в редакции газеты. Он очень боялся опоздать.

Написанные им шесть страниц казались ему предательством по отношению к Жану де Ла Моннери, предательством по отношению к самому себе, жалким угодничеством, свидетельством полного внутреннего бессилия. Никогда еще из-под его пера на выходило ничего более беспомощного, думал он и уже готовился к унижительному отказу редактора.

«О, мне надолго запомнится моя первая статья!» – прошептал Симон.

Теперь будущее рисовалось ему в мрачном свете.

3

Непомерно длинными и кривыми, пожелтевшими от табака пальцами Люсьен Моблан держал развернутый листок бумаги, обведенный траурной каймой; текст был напечатан необычным косым шрифтом.

Он медленно и внимательно вчитывался в слова извещения о смерти, изучал его, смаковал: «...маркиз Фовель де Ла Моннери, почетный командир эскадрона, кавалер Мальтийского ордена, кавалер ордена Почетного легиона, награжденный также медалью за войну 1870–1871 годов; граф Жерар Фовель де Ла Моннери, посол, полномочный министр, кавалер ордена Почетного легиона, кавалер ордена Георга и Михаила, кавалер ордена Леопольда, кавалер русского ордена Св. Анны; бригадный генерал граф Робер Фовель де Ла Моннери, командор ордена Почетного легиона, кавалер Военного креста, командор ордена Черной звезды Бенена, командор ордена Нихам-Ифтикар; господин Люсьен Моблан – братья усопшего...»

Он остановился, дойдя до своего имени, и осклабился. Люсьен Моблан... Только и всего! Ни титула, ни дворянской частицы перед именем, ни перечня орденов. Да, у него не было ни единого ордена, и тем не менее они вынуждены упоминать его имя. Что ни говори, а он все-таки брат, точнее, сводный брат, чужак в этой аристократической семье, острый шип, который вот уже более пятидесяти лет вонзается им в пятую. Он снова осклабился и с наслаждением поскреб себе спину. Как замечательно поступила его мать, выйдя вторым браком за его отца – Моблана, которого он, Люсьен, даже не знал, но который успел сыграть злую шутку с этими знатными господами и завещать ему, своему сыну, голубые глаза навывкате и огромное состояние.

Люсьен Моблан братьев ни во что не ставил: ведь он был богаче всех их, вместе взятых.

Вытянув ноги к камину, он пробежал глазами строки извещения о смерти, набранного высоким и узким шрифтом. Сначала были перечислены все близкие и дальние родственники, и лишь затем, почти в самом конце, значилось только одно имя: «Госпожа Полан»; последняя строка гласила: «Госпожа Амели Легер, мадемуазель Луиза Блондо, господин Поль Ренода – верные слуги усопшего».

«Она и сюда умудрилась влезть, старая ящерица», – подумал Люсьен Моблан.

Вот уже в седьмой раз в извещениях о смерти фигурировало имя госпожи Полан. Ей удалось убедить членов семьи Ла Моннери, что старинный аристократический обычай требует упоминать в подобных случаях также и слуг; она добивалась этого только для того, чтобы ее собственное имя фигурировало среди имен дальних родственников и прислуги. Теперь никому не приходило в голову нарушать заведенный ею обычай, и каждый раз госпожа Полан занимала самолично предпоследнюю строку похоронного извещения.

«Во всяком случае, на моих похоронах этой ехидны не будет, – решил Люсьен Моблан. – Нужно не мешкая принять меры».

Он достал из секретера стопку печатных листков с траурной рамкой: то были извещения о его собственных похоронах. В них было указано все, за исключением возраста умершего и даты погребения. Упоминалась даже церковь, где будет происходить отпевание. Внизу напечатано было мелким шрифтом: «Можно приносить цветы, покойный их очень любил».

Список родственников был еще длиннее, чем в извещении о смерти Жана де Ла Моннери: к именам сиятельных аристократов, дворян, гордившихся своей родовитостью, баронов империи и командоров различных орденов, к именам людей, представлявших семью его матери, Люсьен Моблан с особым удовольствием присоединил также длинный список имен никому не известных Мобланов – Леруа-Мобланов и Мобланов-Ружье, соседство с которыми не могло порадовать его именитых родственников.

– Ла Моннери перечисляют всех своих родичей до восемнадцатого колена, потому что это доставляет им удовольствие, – пробормотал Люсьен, – я же помещаю своих, чтобы позлить моих знатных братьев.

В ящике лежала также стопка конвертов.

Люсьен Моблан взял их и начал тасовать, словно игрок, тасующий карты. Среди имен его родственников и знакомых по клубу и званым обедам мелькали такие имена, как «Господин Шарль, официант «Неаполитанского кафе»», «Мадемуазель Нинетта, гардеробщица у „Табарена“», «Господин Армандо, парикмахер», – имена людей, которых можно встретить за кулисами театра, в подвальных помещениях ресторанов и домов свиданий.

«До чего забавно! – подумал он. – Все эти рассыльные и официанты будут соседствовать с теми, другими».

Внезапно в его руках оказался конверт с надписью «Улица Вавен, 73, мадемуазель Анни Фере, исполнительнице лирических песен».

– Она позволила себе подшутить надо мной, эта негодница, – пробормотал он. И, скомкав конверт, швырнул его в корзину. – Нет, ей не место на моих похоронах!..

А теперь за работу!

Каждый раз, когда умирал кто-нибудь из родственников, Люсьен Моблан, по его выражению, приводил в порядок дела, то есть аккуратно выбрасывал имя усопшего из текста извещения о своих собственных похоронах. На каждом печатном листке было уже несколько старательно вычеркнутых строк, причем тонкие чернильные линии позволяли прочесть зачеркнутое.

Люсьен пересчитал имена покойников.

После того как он исключит сейчас имя своего сводного брата Жана де Ла Моннери, их число достигнет девяти. Великолепная цифра! Нынче же вечером он в клубе сядет к столу, за которым играют в девятку, и поставит на девятую карту.

«Приведение дел в порядок» заняло немало времени. Он вычеркивал имя Жана на десяти извещениях подряд и, пока сохли чернила, отпивал глоток коньяку, покусывал своими большими желтыми зубами кончик сигареты, а затем опять принимался за работу.

Когда все было кончено, он подошел к туалетному столику, опустил в жилетный карман три маленьких пакетика из тонкой туалетной бумаги, содержимое которых предварительно с удовольствием ощупал, провел щеткой по редким волосам, попрыскался одеколоном, надел на шею белый шарф и погляделся в зеркало.

Оттуда на него смотрел человек с уродливым черепом, носившим неизгладимые следы акушерских щипцов, наложенных пятьдесят семь лет назад: над висками, едва прикрытыми белым пухом, выступали две громадные шишки, бледно-голубые глаза навывкате были полуприкрыты тяжелыми веками, лошадиная челюсть выдавалась вперед. И все-таки этого человека он предпочитал всем Ла Моннери с их пресловутой красотой и напыщенным, высокомерным видом! Прежде всего он богаче, чем они, а кроме того, моложе. Да, Люсьен Моблан не замечал у себя пока ни малейших признаков старости.

Выходя из дому, он решил не ездить в клуб.

«Не принято посещать клуб накануне похорон брата, пусть даже сводного. Это неприлично. В дни траура ездят в такие места, где не рискуют встретить знакомых».

И он назвал шоферу адрес игорного дома.

4

Около полуночи Моблан появился в «Карнавале», покусывая, как обычно, сигарету; котелок его был низко надвинут на шишковатый лоб. Чувствовалось, что он сильно не в духе. Все подобострастные приветствия служащих: «Добрый вечер, господин Моблан, добрый вечер,

господин Люсьен, добрый вечер, господин Люлю» – остались без ответа. Когда он показался на пороге зала, выдержанного в голубоватых тонах, дирижер, изобразив на лице беспредельную радость, поднял смычок, и музыканты заиграли вальс. Но все было напрасно: безмолвный и неприступный, Люсьен Моблан направился к столику в сопровождении раболепно изгибавшегося метрдотеля.

Люсьен только что проиграл двадцать две тысячи франков. На эти деньги можно приобрести автомобиль... Во всем виноват его сводный брат... Эти Ла Моннери даже после своей смерти ухитряются досаждают ему.

– Нынче ему не повезло, сразу видно, – проговорила Анни Фере, певичка из «Карнавала».

Это была довольно упитанная девица с черными блестящими волосами, сильно накрашенным вульгарным лицом и густо насурьмленными бровями.

Она сидела за столиком возле самого оркестра в компании с рыжеволосой худенькой девушкой лет двадцати, с тонкими руками, с жадными и вместе с тем печальными глазами.

– Но мы все-таки попробуем, – продолжала Анни Фере. – Не могу же я оставить тебя в беде. Правда, он в дурном настроении, за успех не ручаюсь. Надо прежде всего убедиться, что он никого не ждет, а потом – пусть малость покусачует.

Перед Люсьеном Мобланом поставили ведро с шампанским, и три официанта суетились, наперебой стараясь открыть одну бутылку и наполнить один бокал.

– Ну и страшилище! – воскликнула рыжеволосая девушка, взглянув на Моблана.

– Знаешь, милочка, тебе надо твердо решить, чего ты хочешь, – ответила Анни Фере. – В жизни, видишь ли, красивые и молодые редко бывают богатыми. Ты сама убедишься. Впрочем, это в какой-то степени справедливо.

Последние слова она произнесла назидательным тоном, словно изрекла философскую истину, и погрузилась в раздумье.

– Анни, – жалобно позвала шепотом рыженькая.

– Что тебе?

– Я голодна... Нельзя ли чего-нибудь поесть?..

– Ну конечно, деточка. Почему ты сразу не сказала, что не обедала? Чего тебе хочется?

– Сосисок с горчицей, – задыхаясь, ответила рыженькая, глаза ее расширились и наполнились слезами.

Анни Фере подозвала официанта и заказала порцию сосисок. Заметив, что тот колеблется, певичка прибавила:

– Да-да, ступайте, это не за счет заведения. Я сама уплачу.

Наклонившись к подруге, Анни тихо сказала:

– До чего подлы здесь лакеи!

Через несколько минут официант возвратился с дымящимся блюдом. Рыженькая схватила рукой сосиску, окунула ее в горчицу и откусила большой кусок.

– Ешь прилично, – шепнула певичка. – Он смотрит на нас. Уже в третий раз. Только не подавай виду, что замечаешь.

С минуту она глядела на подружку, которая вооружилась ножом и вилкой и старательно, в полном молчании, поглощала одну сосиску за другой. По мере того как девушка насыщалась, на ее худом, остреньком и веснушчатом личике с нарумяненными скулами появлялись живые краски.

Оркестр исполнял какую-то оглушительную американскую песенку.

– Сказать по правде, сердце у меня отзывчивое, – проговорила Анни Фере. – Когда я вижу, что такая славная крошка голодает, у меня душа болит... А знаешь, ведь ты прехорошенькая.

Она поднялась со стула.

– Ладно, теперь самое время идти. Ты поняла, что я тебе сказала? Смотри не оплошай.

Подружка, не переставая жевать, только тряхнула пылающей гривой.

– Не забудь накрасить губы, – напомнила Анни.

Покачивая крутыми бедрами так, что ее длинное черное атласное платье сразу же зашуршало, она пересекла круг, где танцевали несколько пар.

– Итак, милый Люлю, ты даже не здороваешься? – воскликнула она, останавливаясь возле столика, за которым в одиночестве сидел Моблан, уставившись на ведро с шампанским.

– Я вас не знаю, мадемуазель, и не понимаю, что вам от меня угодно, – ответил он, окидывая рассеянным взглядом зал.

У него был низкий, тягучий и хриплый голос. Он говорил недовольным тоном, почти не раскрывая рта, в котором торчала сигарета.

– О Люлю! Неужели ты сердись на меня за то... за то, что произошло тогда!

– Вы изволили посмеяться надо мной, мадемуазель, я вас больше не желаю знать. Я считал вас благоразумной девицей, а вы, оказывается, не лучше других! К тому же я твердо решил больше не иметь дела с женщинами вашего круга.

– Каждый может совершить неловкость... Нельзя же из-за этого ссориться, – сказала певичка.

И она так низко наклонилась над столом, что Моблан без труда мог заглянуть в глубокий вырез корсажа. Выпуклые голубые глаза уставились на ее грудь, затем Люсьен с деланным равнодушием отвел взгляд в сторону.

– Если хотите знать, я нынче утром даже вычеркнул ваше имя из списка тех, кто будет приглашен на мои похороны. Вот вам! – заявил он.

Потом откинулся на спинку стула, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. Анни Фере, усматривая бог весть какую связь между приглашением на похороны и завещанием, воскликнула:

– Ах! Нет, Люлю, ты этого не сделаешь! Ты и вправду хочешь меня огорчить? Знаешь, ты ведешь себя не очень-то шикарно, нет, нет, совсем не шикарно! А впрочем, какое это имеет значение? Ты еще всех нас переживешь...

Лесть сыграла свою роль. Все же Моблан проворчал:

– Люди, которые со мной дурно обошлись, для меня попросту больше не существуют, да, не существуют...

Но взгляд выпуклых голубых глаз снова проник за корсаж. Певичка едва заметно повела плечами, и Моблан отчетливо увидел, что грудь ее ничем не стянута.

– Ну ладно, присядь, выпей стаканчик, – сказал он, указывая на стул.

– О, это уже куда любезнее! Узнаю моего Люлю.

Анни бросилась к нему на шею и вымазала губной помадой шишковатый лоб.

– Хватит, хватит, – проворчал он, – еще обожжешься. Мы друзья – и только...

Он смял наполовину выкуренную сигарету, мокрый кончик которой был весь изжеван, его крупные желтые зубы привычно стиснули новую сигарету, затем он спросил:

– Что это за малютка с тобой сидела?

– Там? А, это Сильвена Дюаль, прелестная девочка.

– Это ее настоящее имя?

– Нет, сценическое. Знаешь, она из хорошей семьи! Папаша, конечно, противился тому, чтобы она шла на сцену, и ей пришлось покинуть дом. Это вполне естественно, в ее годы я сама была такой, в душе у нее пылает священный огонь.

И Анни принялась рассказывать трогательную, но избитую историю о родительском гневе, о благородной бедности, об истопленной комнате, где приходится учить роли, и о доброй подруге, которая знает, как тяжела подобная жизнь, потому что сама прошла через эти испытания, и всеми силами хочет помочь бедной девочке.

– Мила, очень мила! – бормотал Люсьен Моблан, покачивая головой. – И... талантлива?

– Необыкновенно. Пока еще только дебютирует. Но, поверь, она живет лишь ради искусства.

– Хорошенькая, воспитанная, талантливая, смелая, – перечислял Моблан. – Стало быть, по-твоему, ей следует помочь? А? Надеюсь, она благоразумна?

Анни Фере, не смущаясь, выдержала его вопрошающий взгляд.

– О, еще как благоразумна! Даже слишком, – ответила она. – По-моему, у нее никого нет. Это сама чистота, она просто дикарка.

– Отлично, отлично, – пробормотал Моблан. – Так оно и должно быть.

Он поманил пальцем метрдотеля и глазами указал на столик, за которым сидела Сильвена Дюаль. После короткого разговора метрдотель возвратился и объявил, что «барышня ответила отказом».

– Я ж тебе говорила! – торжествующе воскликнула Анни. – Пстой-ка, я сама с ней потолкую, а то она ни за что не подойдет.

5

Не дожидаясь исхода вторых переговоров, метрдотель поставил в ведро со льдом новую бутылку шампанского.

Рыжеволосая девушка подошла со сдержанным, отчужденным и холодным видом. Усевшись между Анни и Мобланом, она равнодушно слушала плоские рассуждения Люсьена о театре и едва касалась губами бокала с шампанским. Вскоре Сильвена почувствовала, как накрахмаленная манжетка скользит по ее бедру, затем длинные пальцы сжали ей колено. Она отодвинулась. Моблан с довольным видом взглянул на Анни и, снова протянув руку, коснулся платья Сильвены.

– О, какая худышка, какая худышка! – сказал он притворно отеческим тоном. – Надо кушать, побольше кушать!

Девушка бросила на него сердитый взгляд, и Моблан принял это за новое проявление стыдливости.

– Отлично, отлично! Девушке так и подобает вести себя! Не стесняйтесь, выпейте еще.

Его глаза блестели. Близкое соседство двух женщин и шампанское (а он уже выпил больше бутылки) вызывали у него чрезвычайно приятное чувство. Люди, сидевшие за соседними столиками, время от времени поглядывали на него сквозь пелену табачного дыма и шептались: «Вы только полюбуйтесь на этого красавчика!» Но Люлю Моблан читал в их взглядах одобрение и был весьма доволен собой.

Скрипач, который приветствовал Люсьена, когда тот вошел в зал, приблизился к столику, держа в одной руке смычок, а в другой скрипку; на его плече лежал носовой платок.

– О, какая прелестная, прелестная пара, просто чудо! – восторженно вскричал он, описывая смычком круг над головами Люлю Моблана и юной Сильвены Дюаль.

Это был старый венгр с пухлым, гладко выбритым лицом; его круглое брюшко выпирало из жилета. Для своей комплекции он был удивительно подвижен.

Моблан довольно закудахтал: фигурство скрипача было для него привычным, но каждый раз производило эффект.

– Какую вещь вы хотели бы послушать, мадемуазель? – спросил скрипач, изогнувшись в поклоне.

Оробевшая Сильвена не знала, что ответить.

– В таком случае – венгерский вальс, специально для вас! – воскликнул скрипач.

И подал знак оркестру.

Люстры погасли, зал погрузился в синий полумрак. Из темноты выступал лишь силуэт толстого венгра; выхваченный конусообразным лучом прожектора, он напоминал какое-то

подводное чудище, озаренное светом из иллюминатора корабля. Прямые, зачесанные назад волосы падали ему на шею. Официанты неслышно приблизились к нему и молча стояли рядом с видом сообщников. Посетители, сидевшие за соседними столиками, невольно смолкли. Казалось, все присутствующие вступили в какой-то стговор.

После яростного вступления оркестр умолк, и теперь венгр играл один: его смычок порхал по струнам и щебетал, как птица.

Поза скрипача изображала вдохновение. Однако он, как сводник, поглядывал на Люлю и рыжую девушку; у него была усталая улыбка человека, который некогда мечтал стать большим музыкантом, но вот уже сорок лет, презирая себя и других, раболепно пиликает на скрипке, увеселяя пары, соединенные деньгами; человека, который возвращается поздно ночью в свою мансарду и разогревает себе ужин на спиртовке; человека, который испытывает отеческую жалость к юной девушке и вместе с тем подлое чувство удовольствия от того, что он помогает старику развращать ее.

Сильвена Дюаль шепнула Анни Фере:

– А мне нравится этот скрипач.

Анни сердито ущипнула ее.

Тем временем Люсьен Моблан норовил прижаться своим уродливым лбом к острому плечу девушки; касаясь губами ее пылающей гривы, он шептал:

– Я повезу вас к цыганам, к настоящим цыганам, повезу, куда вы только захотите.

В зале вспыхнул свет. Послышались жидкие аплодисменты, скрипач вновь изогнулся в поклоне и не поднимал головы до тех пор, пока Моблан не сунул ему в карман стофранковую кредитку.

Сильвена почувствовала, что голод опять терзает ее.

Моблан слегка сжал ей руку.

– Видите ли, милая крошка, – проговорил он, – очень важно хорошо начать свою жизнь. Это главное. Хорошо начать, понимаете? Я начал плохо.

Он немного опьянел и проникся жалостью к самому себе.

– Да-да. Я рано женился, – продолжал он. – Совсем молодым. Моя жена... Можно ей рассказать, Анни?

– Ну конечно, конечно можно. Сильвена благоразумна, но ведь она не дурочка.

– Так вот! Моя жена была бесплодна... Совершенно бесплодна. И она вздумала объявить, будто я импотент. Наш брак был расторгнут. А Шудлер...

Голос Люлю неожиданно окреп.

– ...этот мерзавец Ноэль Шудлер затем женился на ней. И также стал утверждать, будто я импотент. А все дело в том, что она впоследствии подверглась операции, потому что прежде была совершенно бесплодна.

– До чего все-таки люди бывают злы, – проговорила Анни проникновенным тоном.

– Вот и ославили меня на всю жизнь.

– Послушай, Люлю, не говори так, – вмешалась Анни. – Уж я-то во всяком случае могу опровергнуть эту ложь.

Он благодарно улыбнулся ей и заявил:

– Знаешь, Анни, мне очень нравится твоя подружка.

Затем встал и с лукавой усмешкой проговорил:

– Пойду вымою руки.

Не успел он отойти от стола, как метрдотель приказал убрать недопитую бутылку и принести новую скатерть, поставить пустые пепельницы.

– Ну как? – спросила Анни Фере.

– До чего же омерзительный старик твой Люлю, – ответила Сильвена с удрученным видом. – Могу только еще раз повторить: омерзительный!

– Не скрою, мне он тоже был противен, – сказала Анни. – Он всем нам противен. Но когда сидишь на мели, привередничать не приходится. К тому же в этом случае есть одно преимущество: Люлю никогда не забирается выше колен... ну разве только изредка.

Рыжеволосая девушка бросила на подругу недоверчивый взгляд, ей трудно было поверить, что накрахмаленная манжетка, скользившая по ее бедру, и жаркое дыхание у ее лица – всего лишь притворство.

– Сколько ему лет? – спросила она.

– Шестьдесят или около того, но, сама понимаешь, говорить надо, что пятьдесят.

– Вот уж не подумала бы! – вырвалось у Сильвены. – Ничем не утруждать себя и так постареть! А я-то воображала...

– Замолчи!

Моблан приближался к столу; он приободрился, повеселел, глаза у него были не такие мутные, как прежде.

– Значит, решено, – сказал он, усаживаясь. – Я устрою вашу судьбу... Сильвена Дюаль. Я создам вам имя, крошка Дюаль. Вы талантливы, и о вас заговорят. Дайте-ка мне ваш адрес. Я заеду навестить вас как-нибудь, утром... на правах друга.

Анни многозначительно посмотрела на Сильвену: все шло хорошо.

– Но только на правах друга, – промолвила девушка и, входя в роль, погрозила Люсьену пальцем.

– Ну конечно, на правах старого друга. Черкните ваш адресок, – настойчиво повторил он, протягивая визитную карточку.

Пока Сильвена, склонившись над столиком, писала, он с улыбкой глядел на нее.

– Да, я создам вам имя, – повторил он.

Затем засунул два пальца в жилетный карман и извлек оттуда маленький пакетик из папиросной бумаги.

– Что это? – удивилась Сильвена.

Ей неудержимо хотелось рассмеяться.

Моблан развернул бумагу и положил ее на скатерть. Нежно замерцали две великолепные жемчужины.

– Ведь я игрок, – пояснил он. – И ставки в моей игре все время разные: вчера – лошади, сегодня – хлопок, завтра – драгоценные камни и жемчуг... Ставлю я и на красоток.

Взяв кончиками длинных пальцев одну из жемчужин, он отвел от щеки Сильвены рыжие кудряшки и приложил жемчужину к мочке маленького ушка, потом сказал:

– Вы не находите, что она вам к лицу? Посмотритесь в зеркало. Ну как? Что скажете?

Кровь прилила к щекам Сильвены Дюаль. Лицо ее запылало. Она больше не чувствовала мучений голода. Глаза расширились, нос наморщился. Забыв о своей роли, она пролепетала:

– Нет, нет, господин Моблан, не нужно, вы с ума сошли! С какой стати?.. Я никогда не посмею...

Он смерил ее взглядом и спокойно произнес:

– Отлично. Раз не хотите, тем хуже для вас. Я думал, вы любите жемчуг. Выходит, я ошибся. Человек, счет!

Ей так хотелось поправить дело, крикнуть, что, конечно же, она мечтает о таких жемчужинах. Ах, какие чудесные жемчужины! Она не знала, что надо было сразу согласиться, она вовсе не хотела его рассердить... Но было уже поздно. Моблан аккуратно свернул бумажный пакетик и вновь опустил жемчужины в жилетный карман, глядя на Сильвену с жестокой насмешкой, наслаждаясь огорчением, которое без труда можно было прочесть на юном веснушчатом личике.

– Как она еще молода! – сказал он Анни, которая с трудом сдерживала ярость.

Моблан подписал счет золотым карандашиком и швырнул несколько стофранковых кредиток обступившим его лакеям.

– Я навещу вас на этих днях, деточка, будьте благоразумны, – обронил он, поднимаясь.

И удалился с величественной улыбкой на дряблом лице. Подобострастные официанты провожали его до самых дверей, со всех сторон слышалось: «Доброй ночи, господин Люлю, доброй ночи, господин Люсьен, доброй ночи, господин Моблан».

– Ты думаешь, он и вправду обиделся? – спросила Сильвена Дюаль у подруги.

– Вовсе нет, – ответила Анни. – Но ты, скажу прямо, набитая дура. Надо было сразу же согласиться.

– Откуда мне знать? Я думала, что полагается из вежливости отказаться, что он будет настаивать. А потом, жемчужины-то какие! Ты заметила, какие огромные? Я просто растерялась, понять не могла, как это ему взбрело в голову.

На глазах у нее выступили слезы.

– Ну, плакать из-за этого не стоит, – сказала Анни. – Я ведь тебе говорила, он очень богат. Признаться, я и сама не ожидала, что ему вздумается при первом же знакомстве дарить тебе жемчуга. Значит, ты ему понравилась. Досадно только, если он решит, что ты из разряда недорогих любовниц. Смотри же, вперед маху не давай!

Скрипач подал знак Анни.

– Ах, мне снова надо петь! – с досадой сказала она. – А ты ступай домой. И веди себя осторожно! Никого не принимай по утрам. Старики мало спят и встают спозаранку.

Она проводила подружку, продолжая напутствовать ее:

– Понимаешь, как дело доходит до денег, он настоящий садист: любит, когда их просят у него, унижаются и чтобы человек при этом испытывал мучительную неловкость... Если ты разбогатеешь, а я окончательно впаду в нищету, смотри не забудь обо мне.

Внезапно, уже в дверях, Анни судорожно стиснула плечи Сильвены, и та почувствовала на своем лице ее горячее и пряное дыхание...

– Знаешь, опротивели мне мужчины, – проговорила Анни низким и хриплым голосом. И она с такой силой прижалась своим накрашенным ртом к губам рыжеволосой девушки, что та пошатнулась.

Словно сквозь туман, до Сильвены донесся из глубины зала певучий голос:

– Венгерский вальс, специально для вас!

6

Через окно в комнату неожиданно заглянул луч восходящего солнца.

– Джон-Ноэль! Мэри-Анж! Can't you keep quiet!² – воскликнула мисс Мэйбл.

Она металась между двумя кроватями, поправляла подушки, старалась вновь укрыть детей и непрерывно повторяла:

– Aren't you ashamed of yourselves... on a day like this, too³.

Но Мари-Анж и Жан-Ноэль минуту назад обнаружили, что, когда шевелишь пальцами ног, на стене появляются забавные тени.

– Обезьянки, смотри, маленькие обезьянки! Они карабкаются к потолку! – закричал Жан-Ноэль.

– Нет, щеночки, гляди, вон их ушки! Это маленькие собачки, – утверждала сестренка.

– Колбаски, колбаски! – завизжал Жан-Ноэль, радуясь новой выдумке.

² Неужели вы не можете лежать спокойно! (англ.)

³ Хоть постыдились бы... в такой день, как сегодня... (англ.)

И малыши, словно по команде, начали кататься по одеялу, заливаясь неудержимым смехом, как будто их щекотали.

– Мэри-Анж! – возмутилась мисс Мэйбл. – Если вы не будете послушны, вас не возьмут на похороны дедушки.

Мари-Анж сразу притихла: не время было навлекать на себя наказание. Ведь ей впервые предстояло, как взрослой, надеть черное платье и медленным, торжественным шагом войти под церковные своды, убранные огромными черными полотнищами с серебряной вышивкой. До сих пор Мари-Анж еще ни разу не приходилось бывать в соборе, одетом в траур. Жан-Ноэль также скорчил серьезную мину.

– Мисс Мэйбл, почему меня не берут на похороны дедушки? – спросил он.

– Say it in English⁴, – приказала мисс Мэйбл.

Каждый раз, когда гувернантка предвидела затруднительный разговор, она заставляла детей переходить на чужой для них язык.

– I want to go to grandpa's...⁵ – сказал мальчуган.

– No, darling, you are not big enough yet⁶.

– Мне уже скоро пять...

– Say it in English.

– I am nearly five⁷, – повторил по-английски Жан-Ноэль и захныкал.

– Now don't cry. You'll go next time⁸.

Но Жан-Ноэль надул губы и продолжал хныкать, теперь уже из упрямства. Затем он переменял тактику. Воспользовавшись тем, что мисс Мэйбл повернулась к нему спиной, он вытянул шею и, передразнивая гувернантку, у которой зубы выдавались вперед, поджал губу. Затем снова задвигал розовыми пальчиками ног и, ухватив ступню обеими руками, умудрился на четверть засунуть ее в рот; проделывая все это, он надеялся рассмешить сестренку и таким образом помешать ей идти на похороны.

Но Мари-Анж невозмутимо сидела в длинной ночной рубашке, вышитой цветочками: она грезила о черном траурном платье.

Каково же было ее разочарование, когда служанка принесла белое платьице с сиреневым пояском, белую пелеринку и белую шляпку. Однако девочка ничего не сказала.

Мисс Мэйбл принялась одевать ее, а Жан-Ноэль как сумасшедший носился вокруг и вопил:

– А она не в черном! А она не в черном!

– Ну и что из этого? – язвительно спросила Мари-Анж. – Белое платье – тоже траур, правда, мисс Мэйбл?

Девочка уже немного кокетничала своими красивыми зелеными глазами. Она была на полтора года старше брата и в последнее время жеманно растягивала слова. В отличие от удлинённых глаз Мари-Анж у Жан-Ноэля глаза были круглые, большие и темно-голубые – настоящие глаза Ла Моннери.

В остальном же дети очень походили друг на друга.

При мысли о том, что Мари-Анж, пусть даже в белом платье, все-таки идет на похороны, мальчику захотелось наброситься на сестренку, разорвать ее платье, растоптать лакированные башмачки, но вдруг ему все стало безразлично, и он принялся играть в кубики. У Жан-Ноэля

⁴ Скажи это по-английски (англ.).

⁵ Я хочу пойти на дедушкины... (англ.)

⁶ Нет, милый, ты еще слишком мал (англ.).

⁷ Мне уже скоро пять (англ.).

⁸ Не надо плакать. Ты пойдешь в другой раз (англ.).

нередко бывали такие неожиданные смены настроений, поражавшие его родителей и гувернантку.

В эту минуту вошел Франсуа Шудлер, довольно красивый мужчина лет тридцати, с мощной грудью и гладко причесанными каштановыми волосами. Он был во фраке.

– Мисс Мэйбл, готова Мари-Анж? – спросил он.

– Еще минутку, сударь.

Франсуа с любовью смотрел на малышей – румяных, белокурых, таких милостивых и чистеньких. «Прелестные у меня дети», – думал он, играя их кудряшками.

– Надеюсь, сударь, погода не испортится, – любезно сказала мисс Мэйбл и улыбнулась, обнажив при этом длинные зубы.

То, что отец появился утром в парадном костюме, произвело на детей большое впечатление; особенно интриговали их болтавшиеся позади фалды его фрака.

– Папа, а мама тоже сюда придет? – спросила Мари-Анж, которой не терпелось узнать, наденет ли мать вечернее платье и креповую вуаль.

– Мама уже на улице Любека, ты поедешь со мной, доченька, – ответил Франсуа.

Приподняв сына, он поцеловал его; мальчик прошептал ему на ухо:

– Папа! Мне тоже хочется на похороны. Знаешь, ведь я очень любил дедушку.

Франсуа расслышал только конец фразы; опуская малыша на пол, он сказал:

– Я в этом уверен. Ты должен всегда помнить о нем.

– А где дедушка будет лежать в церкви? – спросил Жан-Ноэль. – Ты мне потом расскажешь?

– Да-да. А теперь будь умником.

Жан-Ноэль подошел к сестренке, которой в это время надевали перчатки, поднялся на цыпочки, чтобы достать до лица Мари-Анж, и, прижавшись к ее щеке влажными губками, прошептал:

– Какая ты красивая!

Потом он остановился посреди комнаты в помятой своей пижаме, у которой одна штанина вздернулась чуть не до колена, и полными слез глазами смотрел вслед отцу и сестренке.

7

Развернув «Эко дю матен», Симон Лашом вздрогнул, как от удара: его статьи не было.

Ему бросился в глаза растянувшийся на три колонки рисунок Форена, изображавший поэта на смертном одре и выдержанный в характерной для этого художника резкой, нервической и вместе с тем меланхолической манере. Крупными литерами было набрано: «Правительство принимает участие в похоронах Жана де Ла Моннери, которые состоятся сегодня утром». Под рисунком Форена Симон прочел заголовок: «Рассказ о последних минутах». Он заглянул в конец полосы, и сердце его наполнилось бурной радостью: под статьей была *его* подпись, она была напечатана жирным шрифтом, в три раза более крупным, нежели шрифт самой статьи.

В редакции изменили название, вот и все. Он стоял как вкопанный у края тротуара на улице Суфло, мимо него спешили женщины, неся сумки с провизией, проходили студенты с портфелями, а он не двигался с места, пока не прочел свою статью от первой строчки до последней. Теперь, когда статья была напечатана с разбивкой на абзацы, с набранными курсивом цитатами, она показалась ему куда лучше, чем прошлой ночью. Содержательная, хорошо продуманная статья. Право, к ней нельзя прибавить ни единого слова.

«А все-таки это странная манера – менять заголовки без ведома автора, – подумал он. – Правда, для широкой публики так, пожалуй, понятнее».

В нескольких шагах от себя он заметил невысокого старичка с козлиной бородкой, должно быть отставного чиновника, который тоже остановился и, держа в руках «Эко дю

матен», читал его статью. Симону захотелось кинуться к нему и закричать: «Это я Симон Лашом!» Затем он подумал: «Каким он меня представляет? Верно, считает преуспевающим журналистом вроде...»

Он нарочно прошел мимо маленького чиновника, чуть не задев локтем своего первого читателя.

Когда ученики четвертого класса, построенные в коридоре лицея Людовика Великого, увидели подходившего Симона Лашома, они принялись подталкивать друг друга локтями и шушукаться:

– Взгляни-ка на него! Что это с ним стряслось?

И действительно, Симон, медленно приближавшийся в сопровождении господина Мартена, преподавателя истории и географии, выступал в необычном наряде – черном, очень узком пальто и новом огромном котелке. Ему было явно не по себе оттого, что ученики таращили на него глаза, поэтому он держался необыкновенно чопорно и вопреки своей привычке старался не качать головой.

Раздался звонок, ученики вошли в класс. Симон повесил на вешалку пальто и великолепный котелок и собрал домашние работы. Мальчики раскрыли тетради, но перед тем, как продиктовать тему нового сочинения, Лашом сказал:

– Вы, без сомнения, уже прочитали в газетах, которые получают ваши родители, о смерти Жана де Ла Моннери.

Он остановился, словно ожидая, что кто-нибудь крикнет: «Ну конечно, сударь! Мы даже видели вашу статью». На сей раз он бы не сделал замечаний ученику, если бы тот перебил его таким возгласом. Но все молчали.

– Похороны состоятся сегодня, – продолжал Лашом. – Я должен на них присутствовать. Так что в десять часов вы будете свободны.

В классе поднялся радостный гул. Симон постучал ногтем по кафедре.

– Жан де Ла Моннери, – снова заговорил он, – останется в истории французской литературы как один из величайших писателей нашего времени, быть может самый великий. Мне выпало счастье близко знать его; в последнее время я виделся с ним почти каждую неделю, я считаю его своим учителем... В субботу, когда он умирал, я сидел у его изголовья.

Неожиданно он обнаружил, что глубоко взволнован, и машинально протер очки.

В классе царил полная тишина. Мальчики не предполагали, что их преподаватель знаком со столь знаменитым человеком, чье имя встречалось в учебниках литературы, с человеком, день похорон которого печать именвала днем национального траура.

– Вот почему я хочу нынче утром поговорить с вами о нем и его творчестве, что, кстати, следовало бы делать каждый раз, когда от нас уходит великий человек... Жан де Ла Моннери родился в департаменте Шер, неподалеку от Вьерзона, в тысяча восемьсот сорок шестом году...

Симон говорил дольше, нежели рассчитывал, говорил о вещах, не предусмотренных учебной программой. Мальчики сосредоточенно слушали. И все же в какой-то момент, хотя все по-прежнему сидели неподвижно, Симон почувствовал, что внимание детей ослабевает и они только делают вид, что слушают. Пансионеры в серых блузах и приходящие ученики в коротеньких курточках, все эти семь рядов вихрастых мальчишек с гладкими – без единой морщинки, без единой жировой складки – лицами, мальчишек, едва вступивших в отроческий возраст, еще остававшихся детьми, но уже живших сложной внутренней жизнью, со своими вкусами, своими привязанностями, своими антипатиями, своими надеждами, – все они были где-то далеко, по сути дела, отсутствовали.

Глаза детей, устремленные на измазанные чернилами пальцы с обгрызенными ногтями, ничего не выражали. Голос, доносившийся с кафедры, больше не достигал их красных или бледно-розовых ушей; фразы, даты, которые приводил Симон, больше не возбуждали внима-

ния. Их еще очень скромные познания вертелись вокруг нескольких привычных представлений, и поэтому такие даты, как 1848-й или 1870 год, мгновенно оседали в мозгу, подобно тому как соус оседает на дно тарелки. Но такие даты, как 1846-й или 1876 год, совершенно им не знакомые и бесконечно далекие от них, заставляли школьников лишь удивляться тому, что до сих пор, оказывается, еще не перевелись люди, жившие в столь давние времена.

И ученики сидели смиренно, однако все поглядывали на стенные часы, нетерпеливо ожидая, когда же кончится скучный урок, который тянется так медленно, и настанет счастливый час неожиданной свободы.

Какой-то юный маньяк что-то записывал, точно машина, ничего при этом не понимая.

И лишь два мальчика в двух противоположных углах класса слушали взволнованно, жадно, сосредоточенно, с выражением недетской серьезности на ребячьих лицах. Симон, продолжая говорить, попеременно смотрел теперь только на них. Он не сомневался, что они в тот же день кинутся в книжную лавку на улице Расина и купят томик избранных стихотворений Жана де Ла Моннери в издании Фаскеля. Стихи, которые они уже начали писать или начнут писать через год, будут отмечены влиянием поэта. И если эти мальчики даже станут когда-нибудь банкирами, адвокатами или врачами, они всю жизнь будут помнить этот час.

Пройдет полвека, и нынешние школьники будут рассказывать своим внукам: «Я был в классе Симона Лашома в день похорон де Ла Моннери».

Симон мысленно повторил: «Я был в классе Лашома» – и посмотрел на часы. Стрелка приближалась к десяти.

– Запишите тему домашнего сочинения к следующей среде, – произнес он. – «Какие мысли пробуждают в нас две первые строфы стихотворения Жана де Ла Моннери „На озеро, как лист, слетает с ветки птица...“» Сравните эти стихи с другими известными вам стихотворениями, которые также навеяны природой.

Пока ученики защелкивали портфели и выходили из класса, Симон Лашом быстро помечал в своем блокноте: «Для предисловия к посмертному изданию произведений Ж. де Л. М.: „Слава великих людей, за исключением полководцев, вопреки общему мнению не получает широкого распространения среди толпы. Она поражает лишь воображение избранных, а их немного встречается в каждом поколении; только этим избранныкам дано постичь величие истинной славы, и, воспевая имя ушедшего гения, они сохраняют его в памяти своих современников“».

Между тем дети неслись по коридору к швейцарской, радостно вопя:

– Хорошо, если бы каждую неделю умирали какие-нибудь знаменитости!

Симон не слышал их криков; машинально чистя рукавом свой новый котелок, он продолжал размышлять.

8

Громкий стук внезапно разбудил малютку Дюаль. Она недовольно поднялась с постели и отворила дверь.

– Ах, это вы? – воскликнула она. – Вы не теряете времени.

Перед ней стоял Люлю Моблан с тросточкой в руке; подняться на пятый этаж по крутой лестнице было для него делом нелегким, он совсем запыхался.

– Я пришел как друг, – с трудом выговорил он, – мы ведь так условились. Кажется, не рады?

– Что вы, что вы, напротив! – ответила Сильвена, спохватившись.

Она пригласила его войти. Лицо у нее было заспанное, глаза припухли, в голове стоял туман. Она дрожала от холода.

– Ложитесь в постельку, – сказал Люсьен, – а то еще простудитесь.

Она набросила на плечи шаль и, подойдя к зеркалу, несколькими взмахами гребня расчесала спутанные волосы. Люлю не отрывал глаз от ее измятой и порванной под мышками ночной сорочки, под которой слегка вырисовывались тощие ягодички, от ее голых щиколоток.

Когда девушка ложилась в постель, он попытался разглядеть ее тело, но потерпел неудачу: Сильвена сжала колени и обтянула рубашку вокруг ног.

Моблан не спеша прошелся по комнате.

Грязные обои кое-где были порваны. Кисейные занавески пожелтели от ветхости и пыли. Единственное окно выходило в мрачный двор, из него были видны такие же грязные окна, такие же пожелтевшие занавески, ржавые водосточные трубы, стены с облупившейся штукатуркой. Снизу доносился стук: сапожник стучал молотком, подбивая подметки.

– У вас здесь очень мило, – машинально проговорил Люлю.

Мраморная доска комода треснула в нескольких местах, в тазу валялось мокрое полотенце со следами губной помады. Люлю Моблан с удовольствием обозревал эту неприглядную конуру: здесь он соприкасался с отребьем общества. Отребьем он считал всех бедняков.

Он остановился перед двумя рисунками, прикрепленными к стене кнопками: на этих рисунках, сделанных сангиной, малютка Дюаль была изображена голой.

Люлю повернулся к кровати и вопросительно посмотрел на Сильвену.

– Я позировала художникам, – пояснила она. – Конечно, не в мастерской, а в художественной школе! Ведь надо же чем-то жить.

– Талантливо, талантливо, – пробормотал он, снова повернувшись к рисункам.

Он продолжал разглядывать комнату. Ничто в ней не говорило о присутствии мужчины, во всяком случае – недавнем. Люсьен опустился на стул возле кровати и кашлянул, чтобы прочистить горло.

– Вчера вечером мы славно повеселились, – сказал он, почесывая подбородок.

– О да, чудесно было! – подхватила девушка.

Голова у нее сильно болела.

– Я, кажется, был немного... навеселе, – продолжал Моблан. – Должно быть, наговорил вам кучу глупостей.

Сильвена в замешательстве смотрела на него; при дневном свете он показался ей еще противнее, чем вечером: она никак не могла привыкнуть к буграм у его висков и к грушевидному черепу, к безобразию, порожденному акушерскими щипцами и придававшему этому почти шестидесятилетнему человеку вид недоношенного ребенка.

«Наконец-то я поняла, на кого он похож, – подумала она. – На гигантский зародыш».

Чтобы отвлечься от этих мыслей, она принялась внимательно разглядывать его широкий черный галстук, обхватывавший высокий крахмальный воротничок, его модный черный пиджак, запахнутое пальто, брюки в серую полоску. Несмотря на свое уродство, богато одетый Люлю наполнил комнату атмосферой довольства и благополучия.

– Вы всегда так наряжаетесь по утрам? – спросила Сильвена.

– Нет, сегодня я тщательно оделся потому, что отправляюсь на похороны. – Он взглянул на часы. – К вам я ненадолго.

И тотчас же Сильвена почувствовала прикосновение его пальцев к своей руке.

– Мне нравятся скромные, благоразумные девочки, – прошептал он хриплым голосом. – Вы меня сразу расположили к себе.

Его рука поднималась выше, проникла в вырез рубашки, холодная накрахмаленная манжета скользнула под мышку, длинные пальцы старались нащупать грудь.

– О, какая она маленькая, – разнеженно пробормотал Люлю, – совсем, совсем еще маленькая.

Сильвена схватила его руку и отбросила на одеяло.

– Нет, нет, – сказала она. – Вы тоже должны быть благоразумны.

Но рука проникла под одеяло и медленно заскользила по ее бедру.

«Нетрудно будет вовремя его остановить, – подумала малютка Дюаль, – но все же придется ему кое-что разрешить, ведь он для того сюда и явился».

Его пальцы приподняли ночную рубашку, крахмальная манжета царапала кожу. Вся сжавшись, напрягая мускулы, тесно сдвинув ноги, девушка позволяла гладить себя.

«Ну, милый мой, раз уж ты так спешишь, тебе это недешево обойдется», – сказала она себе.

– Да-да, надо быть благоразумным, – бормотал он.

Длинные влажные пальцы сновали по ее гладкому худому животу и замерли...

«Сейчас он побагровеет, начнет тяжело дышать... – И она приготовилась оттолкнуть Моблана. – Во всяком случае, на первых порах».

Но дряблые щеки Люлю Моблана по-прежнему оставались желтовато-бледными, дыхание – ровным, рука под простыней больше не двигалась; Сильвена чувствовала теперь только ритмичное и слабое биение крови в его длинных пальцах. Так прошло несколько долгих минут. Люлю вперил рассеянный взгляд в пятно на обоях, расплывшееся над кроватью, и словно ждал чего-то, что так и не совершилось.

Это притворство, а может быть, тщетная и смехотворная надежда вызвали у девушки еще большее отвращение. Уж лучше бы этот старый манекен в черном галстуке набросился на нее!

По улице проехал тяжелый грузовик и до основания потряс дом.

Люлю отдернул руку, бросил на девушку спокойный, невозмутимый взгляд и произнес:

– А теперь скажите, что я могу для вас сделать? Нуждаетесь ли вы в чем-нибудь? Говорите откровенно... по-дружески. Сколько?

Он наблюдал за ней. Наступила минута его торжества: он брал реванш, видя ее замешательство.

Девушка задумалась лишь на несколько секунд, они потребовались ей для того, чтобы разделить пятьсот на двадцать... «Лучше назвать сумму в луидорах».

– Если уж вы так добры, не можете ли вы... – Остатки стыдливости чуть было не заставили ее сказать «одолжить», но она вовремя спохватилась. – Не можете ли вы дать мне двадцать пять луидоров? Я сейчас в стесненных обстоятельствах.

– Вот и прекрасно. Люблю прямоту.

Он имел дело с ловким партнером в игре.

Люлю Моблан достал из бумажника кредитку, сложил ее вдвое и сунул под ночник.

– На днях я к вам загляну пораньше, – заявил он, вставая. – Будем теперь называть друг друга Люлю и Сильвена. Хорошо?.. До свидания. И не забывайте о благоразумии, слышите, о благоразумии! – прибавил он, погрозив ей указательным пальцем.

– До свидания, Люлю.

Она прислушивалась к замирающему звуку его шагов на лестнице; затем с улицы донесся стук захлопнувшейся дверцы такси. Сапожник все еще вколачивал гвозди. Сильвена соскочила с кровати, выбежала на лестничную площадку и, перегнувшись через перила, крикнула:

– Госпожа Минэ! Госпожа Минэ!

– Что случилось? – послышался из полумрака голос привратницы.

– Подымитесь, я хочу вам кое-что дать.

Привратница вскарабкалась по лестнице. Сильвена сказала, протягивая кредитный билет:

– Госпожа Минэ, разменяйте мне, пожалуйста, деньги, купите шоколада в порошке и полфунта масла, а потом заплатите за уголь...

Старуха, видевшая, как вышел Люлю, высокомерно посмотрела на девушку: в ее взгляде презрение простого человека к низости сочеталось с почтительным отношением к деньгам.

– Придется удержать двести франков за квартиру, – сказала она, – и шестьдесят семь франков, которые вы мне задолжали...

– Ах да, – с грустью вымолвила Сильвена Дюаль.

И пока привратница спускалась по лестнице, девушка подумала: «Может, он завтра опять придет».

9

Было зажжено столько свечей, что дневной свет отступил за цветные стекла наружу. В церкви Сент-Оноре-д'Эйлау царила ночь, озаренная тысячью огоньков и золотых точек; казалось, под сводами храма заключена часть небосвода. Мощный орган наполнял это сумеречное пространство грозными звуками; чудилось, что над толпой гремит глас Господень.

На отпевание собрались обитатели Седьмого, Восьмого, Шестнадцатого и Семнадцатого округов города – тех самых, где расположены кварталы, в которых обретались в Париже сильные мира сего. Боковые приделы и галереи до самого портала были забиты до отказа: люди стояли, тесно прижавшись друг к другу; никто не мог двинуть рукой, но все судорожно вытягивали шею, стараясь разглядеть участников грандиозного спектакля.

Этими участниками были знаменитые старцы, сидевшие тесными рядами в самом нефе, по обе стороны от главного прохода. Чтобы обозначить их положение в обществе, у скамей на деревянных подставках установили таблички с надписями: «Французская академия», «Парламент», «Дипломатический корпус», «Университет»...

Госпожа Полан, подавленная размахом и торжественным характером церемонии, была вынуждена передать бразды правления в руки важных господ, облеченных особыми правами. Все протекало по строгому плану. Представители Французской академии в зеленых мундирах, возглавляемые писателем Анри де Ренье, при каждом движении задевали о мраморные плиты пола ножами своих шпаг, которые при этом мелодично звенели. Среди академиков выделялся человек в небесно-голубом мундире, с еще стройной фигурой и седыми усами; глядя на него, присутствующие перешептывались: «Смотрите, Фош!»

Среди темных фраков блистали и другие мундиры, украшенные многочисленными звездами. Лица политических деятелей – бородатых, толстощеких, лысых или пышноволосых, обрюзгших и подвижных – удивительно походили на их карикатуры, почти ежедневно появлявшиеся в газетах. Некоторые из этих трибунов, садясь, старательно подбирали полы пальто. Над скамьями, отведенными для дипломатов, из меховых воротников выглядывали смуглые физиономии представителей заморских владык и удлиненные лица северян с ровными, прямыми бровями. Университет и магистратура, сверкая лорнетами и пенсне, выставляли напоказ отделанные горностаем пурпурные, желтые и черные тоги. Романисты, завидев друг друга, приветственно кивали. В группе известных людей, не занимавших официального положения, выделялась огромная, грузная фигура Ноэля Шудлера; его черная как смоль остроконечная борода возвышалась над головами соседей. Казалось, то был сам Сатана, приглашенный сюда по ошибке. Шудлер, один из наиболее могущественных людей Парижа, привлекал к себе всеобщее внимание.

Места перед амвоном были заняты прелатами: одни дремали, другие перешептывались, третьи сидели с неприступным видом. Там же восседал и тучный виконт де Дуэ-Души, личный представитель герцога Орлеанского, рядом с ним расположился старик с шелковистыми волосами, представлявший особу императрицы Евгении; они не разговаривали друг с другом.

Среди присутствовавших по меньшей мере человек двадцать могли рассчитывать на столь же пышные похороны. И они знали это. Некоторым оставалось ждать всего лишь несколько месяцев.

И все же они думали о своей смерти как о чем-то неопределенном, далеком, нереальном. Они вставали, снова садились, наклоняли друг к другу морщинистые лица – словом, жили и играли свою роль перед толпой. Оглядывая собравшихся, каждый спрашивал себя, кто же будет виновником следующей траурной церемонии. И хотя все они в одинаковой степени страшились смерти, ни один не допускал мысли, что это может быть именно он.

Что касается женщин, находившихся здесь, то среди них трудно было найти хотя бы одну, на чьей совести не лежало множество грешков. Сюда собрались супруги высокопоставленных лиц, финансовых воротил, титулованных особ, прославленных журналистов – все те, чья жизнь проходит в роскоши и безделье; рядом с этими дамами в замысловатых головных уборах сидели прославленные актрисы. Анна де Ноайль, чья слава могла бы поспорить с известностью самых знаменитых мужчин, была укутана в меха и жестоко страдала от вынужденного молчания. Кассини, прямая, высокая, с трагическим лицом, теребя на шее легкий газовый шарф, изо всех сил старалась показать, что эта утрата была ее личным горем.

Агент похоронного бюро в черных нитяных перчатках встречал у входа прибывающих и подавал им лист, на котором каждый ставил свою подпись; таким образом к концу церемонии этот человек сделался обладателем богатейшего собрания автографов знаменитых людей того времени.

У гроба, впереди почетных приглашенных, разместились члены семьи усопшего во главе с его братьями. Тут был и генерал, чей мундир казался издали голубым пятном на черном фоне, и двое других – Урбен и Жерар; высокие крахмальные воротнички ослепительной белизны подпирали их подбородки. Люлю Моблан явился с опозданием и, пробираясь к своему месту, нарушил торжественную тишину, царившую в соборе.

Худой как скелет Жерар де Ла Моннери, дипломат, прибывший на похороны из Рима, вполголоса заметил Моблану:

- Неужели ты не понимаешь, что приличие требует являться на похороны во фраке!
- Оставь его, он никогда не умел себя вести, – сказал генерал.
- У меня было деловое свидание, – процедил сквозь зубы Люлю.

Госпожа де Ла Моннери не плакала; длинная траурная вуаль выделяла ее из толпы женщин. Когда звуки органа становились особенно резкими, она прижимала пальцы к ушам.

Жаклина и Изабелла избрали благоговейную позу, лучше всего подходившую к их возрасту; почти все время обе стояли на коленях, закрыв лицо руками и опустив голову. Меж двух этих женщин в черных одеждах выглядывала крохотная Мари-Анж в белом платьице, словно маргаритка меж муравейников.

А чуть поодаль, отделенный от толпы алебардами двух церковных швейцарцев в треуголках с плюмажем, над пирамидой цветов, над пылающим прямоугольником из зажженных свечей, над стоявшими вокруг людьми возвышался огромный помост, задрапированный черным покровом с серебряным позументом; там лежал усопший.

О нем никто не вспоминал – ни дьяконы, ни священник, служивший заупокойную мессу, ни даже Изабелла, которая думала о том, что надо продезинфицировать спальню покойного и ответить на множество писем, выразивших соболезнование.

Каждый из присутствовавших в церкви был слишком важным лицом или полагал себя таковым и потому заботился лишь о своей особе, думал лишь о своих делах.

Что же касается зевак, толпившихся в боковых приделах, то они устали от долгого стояния на ногах и уже вообще ни о чем не думали.

Швейцарцы ударили древками своих алебард о гулко зазвеневшие каменные плиты.

И тогда послышался шум отодвигаемых стульев, падающих тростей; откашливаясь, распрямляя спины, пожимая на ходу друг другу руки, собравшиеся медленно двинулись вперед, чтобы окропить складки черного покрывала святой водой. Массивное серебряное кропило, слишком тяжелое для старческих рук, переходило от правительства к Французской академии, от

Академии – к Университету, от Университета – к дипломатам, а от дипломатов – к женщинам, которые некогда любили того, кто теперь неподвижно лежал на помосте, и все еще испытывали сердечный трепет при мысли о нем; от возлюбленных усопшего оно вновь перешло к представителям литературы, науки и искусства и наконец оказалось в руках Симона Лашома. Симон всматривался в лица своих соседей, старался запомнить их и испытывал необыкновенную гордость оттого, что он по праву находится среди всех этих высокочтимых старцев. Именно во время погребальной церемонии можно наблюдать великих людей вблизи. Шествие прощавшихся проходило перед катафалком и перед членами семьи покойного почти целый час.

Затем тяжелые двери портала распахнулись, и все с изумлением обнаружили, что на улице день. По обе стороны паперти теснилась толпа.

Восемь служителей похоронного бюро сняли с возвышения гроб, на крышке которого покоились шпага и треугольная шляпа, и медленным размеренным шагом, держа гроб на уровне груди, двинулись по главному проходу мимо живых. Симон невольно подумал, что старый поэт, с которого сняли мундир академика, лежит теперь в темном свинцовом ящике в одной лишь накрахмаленной рубашке, длинных белых кальсонах и черных шелковых носках.

Когда хоронят бедняков и за погребальными дрогами следует лишь несколько родственников умершего, каждый встречный сочувственно смотрит на печальный кортеж.

Здесь, напротив, усопший, казалось, отвергал всякую возможность проявления чувств. Исполненный презрения, как бы облаченный в свою украшенную перьями треуголку, он проплывал мимо людей, стоявших шпалерами, и невольно приходило в голову, что этот худой мертвец жил слишком долго и потому никто не испытывает искренной скорби.

Орган прозвучал в последний раз и затих, и тут же послышался звон сабель: это эскадрон республиканской гвардии в касках с конскими гривами воздавал последние почести офицерской звезде ордена Почетного легиона, которую несли за гробом на бархатной подушке. Лошади били копытами о мостовую.

Гигантская статуя Виктора Гюго, возвышавшаяся посреди площади под открытым небом, как бы повернулась спиной к парадному шествию. Сорок лет назад оба поэта запросто сидели друг напротив друга, и тогда тот, кто ныне воплотился в бронзу, напутствовал того, кто теперь лежал в свинцовом гробу.

Распорядитель церемонии почтительно приблизился к Урбену де Ла Моннери, возглавлявшему траурный кортеж, и шепнул ему несколько слов. Маркиз пересек улицу, чтобы поблагодарить офицера, командовавшего отрядом гвардии, и взволнованная толпа смолкла – до такой степени этот старый человек с цилиндром в руке, с венчиком белых волос на голове, в облегающем черном пальто и в лакированных башмаках был по-старинному элегантен и изысканно учтив. Слегка смущенный офицер, которому мешали поводья лошади и темляк сабли, наклонился и пожал руку маркиза с таким почтением, с каким пожимают руку владетельного принца.

Толстый академик, с окладистой бородой, специалист по истории, говорил профессору Лартуа, который всем своим видом выражал глубокое внимание:

– Эти братья Ла Моннери – просто удивительные люди. Все у них проходит с блеском, даже собственные похороны. Взгляните на них: один – генерал, другой – посол. И все это в условиях Республики. А если бы они жили при монархии и поддерживали друг друга, как они это делают сейчас, то принадлежали бы к числу тех до поры до времени неизвестных семейств, которые при воцарении какого-нибудь короля внезапно оказываются на переднем плане и становятся герцогами и пэрами.

Резкий порыв ветра поднял с земли сухую холодную пыль, пробрался под пальто, вздыбил бороду тучного академика. Тот внезапно разразился негодующими восклицаниями по адресу служителей похоронного бюро Борниоля, которые куда-то засунули его плед, – из-за этого он, чего доброго, простудится.

– Я постараюсь все это уладить, дорогой мой, – заторопился знаменитый медик с услужливостью молодого человека.

– О да! Ведь могильщики, должно быть, отлично вас знают! – воскликнул академик, довольный собственным остроумием.

Гроб установили на большой катафалк, украшенный черными султанами, мрачный, как придворная карета испанских королей; пока на погребальной колеснице прилаживали огромные венки, шестерка вороных коней пугливо косилась из-под капюшонов.

Люди, которым предстояло проводить покойного до кладбища, усаживались в автомобили или в большие кареты, ожидавшие на улице Мениль.

Опираясь на руку горничной, прошла госпожа Этерлен, похожая на состарившуюся Офелию.

Поредевшая толпа заполняла тротуары авеню Виктора Гюго и смотрела вслед траурному кортежу.

Прошло еще несколько минут, и перед церковью Сент-Оноре-д'Эйлау не осталось никого, кроме нескольких старых поэтов – долговязых, худых и необыкновенно чопорных; они походили на Жана де Ла Моннери, как дурные копии на подлинное произведение искусства. Пожалуй, только их в какой-то степени интересовали заслуги умершего и вызывали среди них полемику. Впрочем, и они говорили больше всего о собственных заслугах и достоинствах свободного стиха.

Служители похоронного бюро уже устанавливали лестницы и снимали траурные драпировки.

10

Коротконогий министр просвещения и изящных искусств Анатолий Руссо, отбросив назад длинную серебрившуюся прядь волос и подкрепляя каждую фразу энергичным взмахом небольшой широкой руки, заканчивал речь.

– В последнее мгновение своей жизни поэт... – бросил министр в толпу и сделал паузу. – В последнее мгновение он сказал... – Господин Руссо снова остановился. – «У меня не останется времени закончить». Удивительные слова... В них одновременно итог целой жизни... и завидная судьба... и стремление завершить начатое дело... стремление, присущее французской нации...

Министр взглянул на визитную карточку, испещренную пометками, затем вскинул голову и, словно взывая к воображаемой аудитории за кладбищенской стеной, воскликнул:

– И я обращаюсь теперь... к пылкой молодежи нашей страны, которая сменит нас завтра во всех областях и которая таит в своих рядах множество талантов...

Слушая министра, Симон Лашом узнавал мысли, высказанные им самим в конце статьи и лишь изложенные другими словами и в другом порядке. Впрочем, эти мысли невольно должны были прийти в голову всякому, кто вдумался бы в последние слова поэта. Министр говорил также о поучительности жизненного пути столь знаменитого поэта. Но откуда стала ему известна последняя жалоба Ла Моннери? И, думая об этом, Симон чувствовал, что сердце его начинает учащенно биться.

– ...когда человек... посвящает все свои силы, всю свою жизнь... упорному, возвышенному труду... он никогда не позволит себе почить на лаврах, считая, что труд этот уже завершен.

Жидкие, до смешного короткие хлопки слышались среди могил и стыдливо смолкли, словно повисли в холодном воздухе. И в ту же минуту какую-то молоденькую родственницу покойного охватил приступ нервного, как сказал бы Лартуа, истерического смеха; по счастью, девушка была под вуалью, и смех мог сойти за подавленное рыдание.

Министр уступил место актрисе театра «Комеди Франсез»; она подошла к самой могиле и прочувственным голосом, в котором приличествующая случаю скорбь смешивалась с боязнью схватить воспаление легких, прочла стихотворения «На озеро...» и «Воспоминание».

А затем из рук в руки снова стало переходить кропило, и каждый махал им над отверстой могилой.

Кассини на минуту прервала монотонный ход обряда. Она упала на колени, набрала горсть земли и бросила ее в яму; мелкие камешки дробно застучали о деревянную крышку гроба.

Профессор Лартуа, в суতোлке очутившийся рядом с Симоном, сказал ему:

– Отличная статья, мой милый, необыкновенно тонкая и умная, в ней сказано как раз то, что следовало сказать. Вы очень талантливы. Впрочем, я в этом не сомневался.

И он представил молодого человека стоявшему рядом главному редактору «Эко дю матен».

– Напишите для нас еще что-нибудь, – сказал тот Симону. – И поверьте, я делаю такие предложения далеко не каждому.

Беседуя таким образом, они прошли мимо склепа, и Симон так и не успел попрощаться со своим учителем.

Члены семьи покойного выстроились в ряд, словно посаженные по линейке кипарисы, и принимали выражения соболезнования.

Симон с восхищением глядел на орденскую командорскую ленту генерала, который, впрочем, так и не узнал его; дивился ужасающей худобе дипломата, стоявшего с моноклем в глазу; задел локтем Ноэля Шудлера, не подозревая, что это владелец газеты «Эко»; великану также не пришло в голову, что невзрачный малый в очках – автор статьи, опубликованной в тот день на первой полосе принадлежащей ему газеты.

Пожилый господин, шедший впереди Симона, пожал обе руки госпоже де Ла Моннери, проговорив при этом:

– Мой бедный друг...

И Симон услышал, как вдова поэта ответила:

– Увы! С опозданием на двадцать лет...

Когда Симон в свою очередь поравнялся с госпожой де Ла Моннери, она машинально повторила тем же растроганным голосом:

– С опозданием на двадцать лет...

Мари-Анж, торжественная, оживленная, раздурманенная морозом, стояла рядом со своей опечаленной матерью и, подражая взрослым, чопорно произносила вслед каждому проходившему мимо нее: «Благодарю вас... благодарю вас...» Она говорила это и тогда, когда ее трепали по щечке, и тогда, когда на нее не обращали внимания.

Миновав шеренгу родственников, Симон, как, впрочем, и все остальные, вздохнул с облегчением и направился к выходу. Ему встретилась госпожа Этерлен; она не сочла возможным подойти к семье поэта и теперь незаметно покидала кладбище, по-прежнему опираясь на руку горничной.

– Ах, господин Лашом, – произнесла она слабым, едва слышным голосом, – мне так хотелось вас увидеть... Ваша статья потрясла... буквально потрясла меня... В ней столько душевного волнения, столько чувства... Подумать только, наряду с такими возвышенными мыслями в нем жила и мысль обо мне... Лартуа не хотел, чтобы я присутствовала на похоронах, его тревожит мое здоровье. Но какое имеет теперь значение мое здоровье?..

Министр Анатолий Руссо, вокруг которого все время толпились люди, внезапно очутился в одиночестве; прогуливаясь по аллее, окаймленной бордюром из букса, он, казалось, внимательно изучал надписи на могильных памятниках. Симон в нерешительности остановился, затем с бьющимся сердцем подошел к нему.

– Господин министр, – начал он, – я имел честь быть представленным вам в октябре на происходившей в Сорбонне церемонии в честь преподавателей Университета, сражавшихся в армии... Симон Лашом.

– Да-да, – вежливо произнес министр, протягивая ему свою широкую руку. Затем его взгляд стал внимательнее. – Лашом... Лашом... Вы, кажется, пишете? Пойдите, ведь это ваша статья опубликована нынче утром? Я читал ее. Она мне очень понравилась. Да, ведь вы близко знали Ла Моннери. Что вы поделяете в настоящее время?

Симон пробормотал что-то невнятное, а министр, указывая тростью на один из памятников, проговорил:

– Нет, это просто непостижимо! До чего же дурной вкус господствовал в былые времена! Затем с видом человека, привыкшего дорожить своим временем, он прибавил:

– Итак, господин Лашом, чем я могу быть вам полезен?

Симон спросил себя, не допустил ли он бестактность, обратившись к министру без надобности. Но Анатолий Руссо как будто забыл о своем вопросе, и они, продолжая болтать, направились к выходу с кладбища. Симон с удовлетворением отметил, что ростом он на несколько сантиметров выше министра.

– Не могу понять, куда девался мой секретарь, – сказал Руссо, оглядываясь.

Затем повернулся к Лашому.

– Вы, должно быть, без автомобиля? Где вы живете?.. В Латинском квартале? О, вам повезло! Ну что же, все складывается как нельзя лучше. Мне надо заехать в министерство. Садитесь рядом со мной.

Неловко забившись в глубину большого «делоне-бельвиля», Симон никак не мог решить, оставаться ему в головном уборе или нет. В конце концов, стараясь держаться как можно непринужденнее, он снял свой котелок.

– Устраивайтесь поудобнее, укутайте ноги, сегодня не жарко, – сказал министр, укрывая колени – свои и соседа – широкой меховой полостью, словно они отправлялись в далекое путешествие.

Затем короткопалой старческой рукой с припухшими суставами он протянул Симону черепашковый портсигар, набитый дорогими сигаретами.

Симон с сожалением смотрел, как быстро мелькают улицы. Он обнаружил, что министр Анатолий Руссо, которого многие газеты именовали невеждой, на самом деле человек весьма образованный, с живым, деятельным умом.

Внезапно он почувствовал почтительное, дружеское расположение к этому коренастому, приземистому человеку с седеющими волосами, выбивавшимися из-под цилиндра, с сорочьиными глазами, мигавшими в такт словам, с изборожденным морщинами лицом, на котором годы оставили след, подобно тому как они оставляют след на коре дерева; неожиданная симпатия к Анатолию Руссо напоминала Симону то чувство, какое он испытывал, глядя в свое время на Жана де Ла Моннери.

Министр догадывался, что нравится своему собеседнику, и старался еще больше расположить его к себе. Он знал, что лучший путь к этому – душевная беседа. Ничто так не льстит людям, как откровенность человека, облеченного властью.

– Я вам завидую, – говорил Анатолий Руссо. – Ведь вы можете часто бывать у поэтов, писать научные исследования, у вас есть для этого время. На заре моей жизни я тоже писал. Я опубликовал немало статей в журналах. И вот уже много лет... даже не берусь сказать сколько... не занимаюсь этим. Но часто мне хочется вновь вернуться к литературным занятиям. Видите ли, в каждом из нас заложены различные дарования, и никогда не знаешь, верен ли тот жизненный путь, какой ты избрал.

– Мне кажется, у человека бывает одно наиболее выраженное дарование, и в конце концов оно обязательно проявится, – сказал Симон.

– Не думаю, – возразил Руссо. – Больше того, я убежден, что любой человек достоин лучшего удела, чем тот, который он себе избирает.

Когда «делоне-бельвиль» остановился у здания министерства, Анатолий Руссо сказал шоферу:

– Португа, отвези господина Лашома домой, а потом приезжай за мной.

Затем он повернулся к Симону:

– Мы должны с вами вновь увидеться. Постойте! Что вы делаете в следующую пятницу? У меня на приеме будут румынские писатели. Это может представить для вас интерес. Приходите вечером, без четверти десять или ровно в десять... В пиджаке.

И министр почти бегом поднялся по каменной лестнице.

Оставшись один в автомобиле министра, Симон даже не глядел через стекло, до такой степени он был полон гордости. Кончиками пальцев он поглаживал меховую полость, обычно согревавшую колени повелителя всего университетского мирка.

Лашом заметил на сиденье несколько сложенных газет, среди них лежала и «Эко дю матен»; заключительная часть его статьи была отчеркнута красным карандашом.

«Так вот оно что, – подумал он. – Впрочем, статья отличная; бесспорно, это лучшее из всего, что я написал».

И Симон спросил себя: уж не станет ли он знаменитостью в одни сутки, подобно тому как прославился в свое время Жан де Ла Моннери, написав свое хрестоматийное стихотворение?

В то время Симон еще не знал, что личные достоинства и талант – необходимые, но далеко не достаточные условия для того, чтобы человек возвысился над своими ближними; он не знал, что нужны еще дополнительные и на первый взгляд незаметные обстоятельства: например, кстати произнесенная умирающим фраза или же счастливая встреча со стареющим министром, который на кладбище разминулся со своим секретарем, а меж тем привык, чтобы кто-нибудь всегда сидел рядом с ним в машине.

Симон не хотел подъезжать в автомобиле к своему неприглядному дому, и, попросив шофера остановиться на площади Пантеона, он сделал вид, будто направляется в библиотеку Святой Женевьевы. Весь остальной путь он прошел пешком. И шагал с видом победителя.

У подъезда ему повстречалась жена: она ходила за покупками и теперь возвращалась с хлебом в руках. Поравнявшись с ней, Симон сказал:

– Какое чудесное утро!

Глава III. Замужество Изабеллы

1

Профессор Эмиль Лартуа спустил на окна своего кабинета белые клеенчатые занавеси. Он любил работать при электрическом свете, яркость которого можно регулировать по желанию. В этот знойный день комната напоминала куб, наполненный свежим, прохладным воздухом; здесь была больничная чистота и слегка пахло лекарствами.

– Ну, дружок, что с вами стряслось? – спросил Лартуа. – Задержка на пять недель? Быть может, ложная тревога? Сейчас посмотрим. Разденьтесь, пожалуйста.

Не переставая говорить, он вымыл руки и тщательно их вытер.

– Как давно мы с вами не виделись? Пожалуй, около полугода? Да, со времени кончины вашего дяди, даже больше чем полгода. Вы, верно, слышали, как низко со мной поступили в Академии? Позор, да и только! Мое избрание было предрешиено, ни у кого не вызывало сомнений... Да-да, раздевайтесь совсем, так удобнее... Но вот за неделю до выборов Домьер решает выставить свою кандидатуру и пускает в ход все свои связи. Старая песня: «Бедняга Домьер при смерти, мы должны доставить ему последнюю радость! Бедняга Домьер не дотянет до лета, у него рак горла, он не в силах даже ездить с визитами!» И в результате Домьер избран.

Лартуа открыл стеклянный шкафчик, достал оттуда несколько зазвеневших никелированных инструментов и разложил их на столе.

– А вечером в день выборов, – продолжал он своим резким голосом и, как всегда, манерно, – меня посетили двадцать академиков. Все рассыпались в любезностях. Еще бы! Ведь я постоянно вожусь с их старческими недугами и чаще всего делаю это бесплатно... Если их послушать, все они голосовали за меня. Правда, одни в первом туре, а другие – во втором. «Поверьте, для первого раза двенадцать голосов – это прекрасно!.. Если бы не этот бедняга Домьер... На следующих выборах вы обязательно одержите блистательную победу, вот увидите...» Нет, дорогая, чулки можете не снимать... И что же, прошло уже больше двух месяцев, а «бедняга Домьер» чувствует себя так же хорошо, как мы с вами. Согласитесь, так вести себя просто неделикатно, это похоже на злоупотребление доверием. Спрашивается, стоит ли после подобного предательства вновь выставлять свою кандидатуру? Как вы думаете?

Лартуа надел на голову тонкий блестящий обруч и приладил ко лбу лампу с рефлектором. Электрический шнур сбегал по пиджаку и тянулся по полу.

– Ну конечно, конечно, профессор, вы обязательно должны выставить свою кандидатуру, – машинально ответила Изабелла.

Во взгляде ее сквозили беспокойство и страх. У нее была низкая грудь, крутые бедра, пупок глубоко вдавливался в смуглый живот. По ее позе было видно, что ей стыдно стоять перед Лартуа совершенно обнаженной.

– Да, именно так мне и советуют поступить друзья, – ответил Лартуа. – Ну а теперь посмотрим, что с вами.

Он зажег лампу с рефлектором, Изабелла больше не видела его лица. Внезапно он превратился в существо из другого мира, с другой планеты, в какого-то циклопа, одетого в синий костюм и черные ботинки; два пальца его левой руки были в резиновой перчатке, за чудовищным глазом марсианина скрывался мозг.

– А знаете, милочка, вы очень, очень недурно сложены, – услышала она его резкий голос.

Но слова, которые доносились из-под зеркального сверкающего диска, звучали совсем необычно. Электрический луч пронзил ее зрачок, а палец, одетый в резину, вывернул веко и обнажил глаз под слепящим светом. Затем обе руки медленно и тщательно, даже слишком

медленно, как казалось Изабелле, принялись ощупывать ее грудь. Вместе с чувством тревоги росло и ощущение неловкости. После того как Изабеллу ослепил резкий электрический свет, перед ее глазами все расплывалось. Ей не терпелось поскорее узнать правду о своем положении, и она спрашивала себя, так ли уж необходим этот предварительный осмотр, вся эта процедура.

– Грудь болят? – послышалось из-за рефлектора. – Нет? Немного? Так-так... Теперь прилягте сюда.

И марсианин повернулся к гинекологическому креслу. Изабелла оказалась распростертой на спине в унизительной позе, с запрокинутой головой, со ступнями, вдетыми в металлические стремяна. Она ощутила боль и вскрикнула.

Про себя она сулила пожертвовать деньги всем известным ей благотворительным учреждениям, словно это обещание могло воздействовать на диагноз. Резиновые пальцы исследовали слизистую оболочку, а тем временем правая рука, нажимая на живот, помогала обнаружить зародыш, определить его величину.

Наконец врач выпрямился, погасил лампу, снял головной убор робота и вновь превратился в обычного Лартуа.

– Ну-с, дорогая... – произнес он.

Изабелла почувствовала облегчение. Не мог же профессор говорить так спокойно, если бы то, чего она страшилась...

И все-таки она услышала:

– Вы беременны. Вы и сами подозревали это, не правда ли?

Лартуа еще что-то говорил, но его слова, казалось, потонули в шуме урагана. Изабелла даже не почувствовала, что ноги ее уже освобождены из стремян.

– Я была уверена, – прошептала она. – Это ужасно... Я была уверена... Это ужасно.

– Да, конечно, конечно... Понимаю, это весьма досадно, – произнес Лартуа. – Но ведь вы не первая и не последняя. Со многими это случается, да и с вами еще не раз случится... Я, если хотите знать, даже доволен. Часто, глядя на вас, я думал: бедняжка Изабелла начинает увядать, превращается в старую деву. И вот наконец вы ожили. Очень хорошо!

Изабелла не отвечала. Его слова не доходили до нее. Она все еще лежала, совершенно обессиленная, и не чувствовала, что он продолжает осторожно ее ощупывать.

– Как он выглядит? – продолжал Лартуа. – Кто-нибудь из вашего круга? Женат?

Услышав последний вопрос, она утвердительно кивнула головой.

– Да, это не облегчает положения. Но иногда так лучше... Кто же он? Я его знаю? Не тот ли молодой журналист, который был у вас, когда умер ваш дядя? Мне показалось...

– Ах, разве я могла тогда себе представить! – воскликнула Изабелла.

– Вот видите! Я угадал. Почему же вы мне сразу не сказали? Этот молодой человек недурен собой и очень неглуп. Не волнуйтесь, считайте, что я уже забыл обо всем, – успокоил ее Лартуа.

Он улыбался.

– Но что же мне делать? Что со мной будет? – простонала Изабелла.

– Прежде всего не делайте глупостей, милочка!

Изабелла решила, что он намекает на самоубийство, так как в эту минуту именно в самоубийстве она видела единственный выход.

– Если вы собираетесь что-либо предпринять, имейте в виду: раньше шести недель ничего делать нельзя – впрочем, этот срок вы уже пропустили, – но и по прошествии двух с половиной месяцев тоже нельзя, – снова впадая в резкий тон, продолжал Лартуа. – Должен сказать, не люблю я впутываться в такого рода дела, вы меня понимаете? Если подобная история выплывет наружу, двери Академии будут закрыты для меня навсегда, не говоря уже обо

всем прочем. Но я хочу предостеречь вас, чтобы вы по неопытности не попали бог весть в какие руки. Ничего не предпринимайте, не повидав меня, согласны?

Только теперь Изабелла разрыдалась.

– В чем дело? Что случилось? – всполошился Лартуа. – Я был груб? Но есть вещи, которые никак не обойдешь.

Он взял ее голову обеими руками и запечатлел на лбу отеческий поцелуй.

– Уверяю вас, лет через пять все это покажется вам чем-то бесконечно далеким... Каким-то незначительным эпизодом, – продолжал он мягко. – Когда происходит что-либо неприятное, нужно всегда спросить себя: сколько времени понадобится для того, чтобы случившееся потеряло всякое значение?

Изабелла продолжала плакать, но ей стало чуть спокойнее, когда он уселся рядом и обнял ее за плечи.

– Испытали ли вы по крайней мере приятные ощущения? – вкрадчиво спросил он. – Стоила ли игра свеч?

Она почувствовала, как руки Лартуа проделывают тот же путь, что несколько минут назад; прерывистое, горячее дыхание обжигало ей плечо.

– Послушайте... что такое? – пролепетала Изабелла.

Она хотела закричать, но Лартуа впился поцелуем в ее губы; изловчившись, он приподнялся и всей своей тяжестью навалился на Изабеллу.

– Профессор! Что с вами? Вы с ума сошли! – воскликнула она, отбиваясь.

Ей удалось вырваться и соскочить на пол. Он лежал одетый, а она стояла перед ним обнаженная, со спущенными чулками. Не желая продлить смешное положение, поднялся и он; дыхание его было прерывистым, щеки побагровели. Изабеллу поразило выражение его глаз. Она вспомнила, что таким же странным и упорным был его взгляд во время одного из званных обедов, когда Лартуа говорил какой-то молодой женщине слегка завуалированные непристойности; зрачки, в которых зажглись колючие искорки, были совершенно пусты и бездушны и напоминали недавно ослепивший ее электрический глаз.

– Ваше поведение недостойно мужчины, профессор, – торопливо одеваясь, сказала Изабелла.

– Напротив, милочка, именно такое поведение и достойно мужчины. К тому же это был бы лучший способ успокоить ваши нервы. Однако вы оказались сильнее, чем я думал.

Лартуа вел себя совершенно непринужденно, холеной рукой он приглаживал седеющие волосы.

– Не понимаю! – продолжала Изабелла. – Я прихожу к вам на консультацию... вы мне сообщаете о моем положении... и вы, врач...

– Но медицина такое скучное занятие, – произнес он и махнул рукой.

Затем, повернувшись к ней, сухо спросил:

– По-вашему, я слишком стар, не так ли?

– Не в этом дело... но я не понимаю... вы просто не отдаете себе отчета...

– Все ясно. Врач не имеет права вести себя по-мужски, так же как священник! Мне знакомы подобные суждения! Притом мужчина в моем возрасте для вас уже вовсе и не мужчина? Вы поймете, почувствуете, что это такое, когда сами постареете...

Можно было подумать, что оскорбление нанесено ему, а не ей!

– Вы обращаетесь так со всеми вашими... пациентками? – спросила Изабелла.

– Нет, не со всеми, – с подчеркнутой галантностью ответил он. – Лишь с некоторыми, и, надо признаться, они обычно бывают любезнее, чем вы. Впрочем, не будем об этом больше говорить. Как врач я остаюсь в полном вашем распоряжении, мой дружок, и помогу вам выйти из всех затруднений.

Изабелла собралась уходить.

– И все же благодарю вас, профессор, – сказала она, протянув ему руку.

– Ну, полноте, не за что, – ответил Лартуа. – Вот увидите, все обойдется.

Он нажал кнопку звонка. Вошла медицинская сестра с накрашенными губами и светлыми волосами, выбивавшимися из-под белого колпачка.

– Будьте добры, проводите даму, – обратился к ней Лартуа, – а потом зайдите, пожалуйста, прибраться.

Колючие искорки продолжали светиться в его глазах.

Едва заметная усмешка тронула губы сестры. Она молча проводила Изабеллу до дверей и покорным, вялым шагом направилась обратно к кабинету.

2

В тот день госпожа де Ла Моннери, следуя привычке, установившейся у нее с самого начала лечения, прогуливалась перед заходом солнца по берегу озера Баньоль-де-л'Орн. Она была в траурном платье из легкой черной шерсти с белой шелковой вставкой, дряблую шею прикрывала матовая лента, над головой она держала раскрытый зонт.

Как обычно, ее сопровождал пожилой господин в белом фланелевом костюме, в высоком стоячем воротнике, белом галстуке и в канотье из слегка пожелтевшей тонкой соломки. Пожилого господина с изысканными манерами звали Оливье Меньерэ, его считали внебрачным сыном герцога Шартрского.

Они разговаривали мало; госпожа де Ла Моннери в последнее время стала туговата на ухо, а ее спутник, застенчивый от природы, краснел каждый раз, когда она властным тоном просила повторить сказанное.

– Надеюсь, завтра еще постоит хорошая погода, – заметила госпожа де Ла Моннери.

– Да, хотя неизвестно, что предвещают эти маленькие облачка, – ответил Оливье Меньерэ, подняв трость к небу и стараясь отчетливо произносить каждое слово.

Несколько минут они шли молча. Над озером пронесся ветерок и поднял легкую рябь. Госпожа де Ла Моннери чихнула.

– Не холодно ли вам, дорогая Жюльетта? – с тревогой в голосе спросил старик.

– Да нет же, нет! Это просто цветочная пыльца. Ветер растормошил цветы на клумбах, и я вдохнула пыльцу.

Они подошли к плакучей иве – конечному пункту их ежедневной прогулки – и не стовариваясь повернули обратно.

– Сегодня вечером в казино концерт, не хотите ли пойти? – спросил Оливье Меньерэ.

Но тут же покраснел от допущенной бестактности: ведь он предложил ей появиться в свете, хотя она еще была в трауре.

Госпожа де Ла Моннери заколебалась.

– Ну, один-то раз можно пренебречь приличиями, – сказала она. – Это же концерт!.. Но не будет ли там резко звучащих инструментов? Они меня совсем оглушают.

– Нет, в программе Шопен, его музыка успокаивает.

– Если так, я согласна.

Меньерэ проводил ее до дверей гостиницы «Терм». Сам он жил в соседнем отеле. Держа шляпу и палку в левой руке, он поднес к губам руку госпожи де Ла Моннери в черной кружевной перчатке.

– Я зайду за вами в половине девятого.

У себя в номере госпожа де Ла Моннери обнаружила ожидавшую ее Изабеллу.

– Что ты здесь делаешь? Почему не предупредила о своем приезде? – удивилась госпожа де Ла Моннери.

Изабелла стояла возле стола, на котором были расставлены пять или шесть балерин из хлебного мякиша в пачках из золотой бумаги.

– Да-да, – сказала старая дама, указывая на свои творения, – теперь я леплю их из пеклеванного хлеба. Мне кажется, так получается гораздо лучше... Чем объяснить твой внезапный приезд? А номер ты сняла? Нет? Ты ни о чем не заботишься! Где твои вещи?

– Чемодан внизу, в вестибюле, – ответила Изабелла.

На ее поблекшем от горя лице еще видны были следы слез, пролитых ночью.

– Тетя, мне надо поговорить с вами...

– Я так и думала... Слушаю тебя! – сказала госпожа де Ла Моннери.

– Тетя, я беременна, – пролепетала Изабелла.

– Что? Говори громче!

– Я жду ребенка, – сказала Изабелла, повышая голос.

Госпожа де Ла Моннери бросила суровый взгляд на крохотных балерин и вытащила длинные булавки, которыми была приколоты к волосам ее шляпа.

– Ну что ж, – ответила она, передернув плечами, – можешь гордиться: ты, как никто, умеешь портить людям отдых!.. В чьем обществе ты свершила сей подвиг? Отвечай, я имею право знать!

– Это Симон Лашом, – отчетливо произнесла Изабелла. – И я люблю его, – вызывающе добавила она, как бы защищаясь.

Будь Изабелла вполне искренна, она призналась бы, что ее любовь стала менее пылкой с тех пор, как она узнала о своем положении.

– Час от часу не легче! – воскликнула госпожа де Ла Моннери. – Жалкий учительница, да еще и голова у него величиной с тыкву! Этот субъект – еще один подарочек твоего покойного дядюшки! Конечно, все случилось в те вечера, когда вы вместе разбирали бумажный хлам, оставшийся после Жана! Все это следовало бы сразу сжечь!

– Но этот жалкий учительница, как вы, тетя, его именуете, состоит сейчас при особе министра! – ответила обиженная Изабелла.

– Вот обрадовала! Он еще и политикой занимается? Малый без стыда и без совести, сразу видно!.. Войдите! – крикнула она, внезапно прерывая фразу.

– Никто не стучался, – сказала Изабелла.

– Мне показалось... Так или иначе, он женат, не правда ли? Стало быть, о нем не может быть и речи. И давно длится эта... связь?

Изабелла страдала от того, что о ее запоздалой первой любви отзываются так бесцеремонно, как люди обычно говорят за глаза о любви своих знакомых. В некотором роде это было для нее не менее унижительно, чем врачебный осмотр у Лартуа.

– Три месяца, – ответила она.

– И ты уже три месяца в положении?

– Нет, всего шесть недель.

– Ну, еще ничего не потеряно. К кому ты обращалась?

– К Лартуа.

– Лучше не придумай! Теперь об этом узнает весь Париж!

– Тетя! Я уверена в профессиональной порядочности Лартуа.

Госпожа де Ла Моннери только пожала плечами.

– Конечно, он не станет болтать на всех перекрестках: «Знаете, Изабелла д'Юин...» Но при первом же удобном случае, плотно пообедав, он подойдет к тебе в гостиной, потреплет по щечке и скажет: «Стало быть, мы уже больше не думаем о постигшей нас неприятности? Все обошлось?» И каждому сразу станет ясно, о чем идет речь.

– Какое это имеет значение, – устало возразила Изабелла, – если ребенок все же появится на свет?

– Что ты сказала?

– Я говорю, – повторила Изабелла, – какое это имеет значение, если ребенок все равно будет.

Госпожа де Ла Моннери подняла свое крупное лицо, увенчанное ореолом седых, чуть подсиненных волос.

– Значит, ты решила оставить его?

– Ну да, – ответила Изабелла, произнеся эти слова как нечто само собой разумеющееся.

– А я сразу и не поняла, – заметила госпожа де Ла Моннери. – Я думала, что тебе в ближайшие дни придется вновь обратиться к Лартуа. И, как видишь, готова была прервать курс лечения и поехать с тобой в Париж, чтобы... Ну, словом, чтобы все прошло как можно тише. Не стану скрывать, я, конечно, осуждаю тебя, но ты оказалась в таком тупике...

Изабелла была потрясена тем спокойствием, с каким эта почтенная дама рассуждала о возможном аборте: тетка ее говорила так же бездушно, как и врач накануне. Видно, люди старшего поколения заботились только о том, чтобы соблюдать приличия и не называть вещи своими именами.

– Как, тетя, и это говорите вы? Ведь вы такая набожная, вы никогда не пропускаете воскресной службы!..

– Ну, милая, уж не собираешься ли ты учить меня, как следует вести себя христианке? Я ни разу в жизни не изменила мужу, хотя терпеть его не могла и хотя он изменял мне на каждом шагу. Если у меня только одна дочь... – Старая дама остановилась и снова с раздражением крикнула: – Войдите!

– Да там же никого нет!

– Нет, кто-то стучался в дверь, пойдй посмотри!

Изабелла отворила дверь: коридор был пуст.

– Опять мне почудилось, – проговорила госпожа де Ла Моннери. – На чем я остановилась? Так вот, если моя дочь появилась на свет только через десять лет после того, как я вышла замуж, то это не моя вина, я бы охотно родила ее раньше. Поэтому прошу тебя не сравнивать меня с собой.

Она подошла к окну, отдернула кисейные занавеси и некоторое время смотрела на деревья в парке.

– За первым грехом, – продолжала она, повернувшись к Изабелле, – обычно следует множество других. Ты, Изабелла, сошлась с мужчиной вне брака, это первый грех. Любовник твой женат, стало быть, ваша связь – прелюбодеяние. Это второй грех! Не будем говорить о том, что ты обманывала меня, обманывала общество. Значит, ты грешила непрерывно. Скажем прямо, разве всякий раз, ложась в постель со своим дружкой, ты делала это для того, чтобы иметь ребенка? Конечно нет! В чем же тогда разница – отказать от ребенка в самом начале, когда он мог быть зачат, или же через полтора месяца? Одним грехом больше и только, да и этот грех – неизбежное следствие всех предыдущих.

– Ваши рассуждения просто чудовищны! Ведь вы отлично понимаете, что это не одно и то же! – вскричала Изабелла. – Что бы ни случилось, я сохраню ребенка!

– Значит, ты добиваешься скандала! – воскликнула госпожа де Ла Моннери. – Хочешь, чтобы вся семья была опозорена, хочешь, чтобы на тебя стали указывать пальцем? Всевышний не любит сраму. Войдите! Если ты не умеешь с честью носить свое имя, то по крайней мере не пачкай его хотя бы ради своих близких.

Закрыв лицо руками, Изабелла разрыдалась.

– Но что же мне делать? – бормотала она сквозь слезы.

Изабелла знала жестокое упорство госпожи де Ла Моннери и предвидела, что после нескольких мучительных дней ей все же придется покориться и вторично посетить Лартуа.

– Чего вы хотите? Не могут же все бесприданницы оставаться бесплодными! – внезапно рассердившись, воскликнула она и подняла голову. – Вы не понимаете, как я страдаю, вам нет до этого никакого дела! Я заранее была уверена... я предвидела, что все произойдет именно так. Я порчу вам отдых, только это вас и волнует! Знайте же, что этой ночью я целый час просидела перед газовой колонкой в ванной комнате... Такой выход был бы самым разумным!

– Что еще за колонка?... Зачем? – напрягая слух, сердито спросила старуха.

– Чтобы покончить с собой! – вне себя крикнула Изабелла.

– Ну, тогда ты стала бы преступницей, а шуму было бы еще больше. В таких семьях, как наша, не кончают самоубийством. Мы предоставляем это мешанам и художникам! Ты страдаешь? Что ж, это совершенно естественно. Впрочем, ответственность лежит не только на тебе: твоя мать тоже была сумасбродкой... Кстати, я не желаю гибели грешников. Раз уж ты непременно хочешь сохранить этот плод нелепой связи... Ну что ж, посмотрим... я подумаю. Можно уехать за границу... Но потом придется дать ребенку фамилию д'Юин? – прибавила она. – Нет, нет, это исключено. Даже невозможно. Ступай закажи себе номер и оденься к обеду.

Изабелла вышла.

«Хорошо же эта девчонка отблагодарила меня за все, что я для нее сделала!» – возмущалась госпожа де Ла Моннери. Она вспомнила о свидании с Оливье Меньерэ и поспешно написала записку с отказом. «Вот-вот, – повторяла она про себя, – вздумала пойти в казино. Когда еще не кончился траур. И наказана за это!»

Слуге, которому она позвонила, пришлось три раза постучать, прежде чем она услышала. Оливье Меньерэ один отправился в концерт и провел очень грустный вечер.

3

После новой перетасовки в составе кабинета Анатоль Руссо перешел из Министерства просвещения в Военное министерство. Обновляя свой персонал, он пригласил к себе Симона Лашома.

Симон, казалось, не обладал никакими данными для того, чтобы осуществлять контакт министерства с прессой и сенатом. Его военный опыт ограничивался тем, что он был лейтенантом запаса в пехоте и, несмотря на слабое зрение, достойно выполнял свой долг на войне. Что же касается его политических убеждений, то их у него не было вовсе, если не считать нескольких весьма благородных и весьма туманных принципов.

Но после встречи с Анатолем Руссо на кладбище Симон несколько раз виделся с министром, который показал молодому магистру наук свои работы о Мэн де Биране, Паскале и Фурье, напечатанные в журналах, прекративших существование еще сорок лет назад.

– Их надо объединить в книгу, – сказал Симон.

В сорочьих глазах Анатоля Руссо мелькнула улыбка, и он с симпатией посмотрел на Лашома. Ему нравились и большая голова Симона, и честолюбие, которое таилось за внешней почтительностью молодого человека.

«Этот по крайней мере отличается от людей своего поколения, – думал министр, – и не считает, что земля начала вращаться лишь после того, как он появился на свет. Если его подтолкнуть, он далеко пойдет».

Анатоль Руссо старел; среди его приближенных чувствовалось некоторое охлаждение к нему, и это произошло именно тогда, когда он получил пост, наиболее значительный в своей министерской карьере. Ему хотелось в последний раз собрать вокруг себя людей с будущим, всем ему обязанных и настолько молодых, чтобы их преданность длилась до конца его дней. Симон оказался в их числе.

В тот день, когда Анатолий Руссо спешно вызвал Симона из лица Людовика Великого, чтобы предложить молодому преподавателю место пресс-секретаря в своем министерстве, он сказал ему:

– Я буду рад видеть вас среди своих ближайших сотрудников. Но подумайте хорошенько, дорогой Лашом. Я не хочу сказать, что переход в министерство изменит всю вашу жизнь, но как знать... Вы стоите на распутье. Смотрите же не ошибитесь в выборе своего пути. Только вы сами можете решить, как вам следует поступить, и если вы скажете «нет», я нисколько не буду на вас в обиде.

Вопрос о том, чтобы Лашом «не ошибся в выборе пути», казалось, очень волновал министра; он разыгрывал из себя человека, который жалеет, что отказался от литературной деятельности, хотя на самом деле его ничто не трогало, кроме радостей и печалей собственной борьбы за власть.

Разговаривая с Симоном, он исподтишка разглядывал своего протеже, стараясь установить, достаточно ли тот честолюбив.

Если бы Лашом отклонил предложение, Анатолий Руссо, несомненно, почувствовал бы в глубине души уважение к такому стойкому, но никогда больше с ним не встретился бы. Однако Симон сразу же согласился, не выказав не малейшего колебания. И в самом деле, что он терял? Ничего, так по крайней мере ему казалось, а выиграть мог все. Ему чудилось, что удача широко распахнула перед ним свои двери.

Согласие Лашома обрадовало министра, но радость эта была какая-то смутная: она напоминала чувство старого игрока, толкающего молодого человека к карточному столу, или морфиниста, протягивающего новичку первый шприц.

Анатолий Руссо не ошибся в выборе. Лобастая голова Симона заключала в себе хорошо организованный мозг, отличную мыслительную машину, которую можно было направить на разрешение любой проблемы, снабдив ее необходимым материалом; это был мозг отнюдь не творческий, но вполне практический, способный служить честолюбию куда лучше, чем гениальность.

По приказу попечителя учебного округа Симон Лашом был откомандирован в министерство и получал сверх обычного преподавательского жалованья еще и особое вознаграждение и жил теперь менее стесненно. А тут еще появилось его исследование, которое было замечено и тоже принесло ему кое-какие деньги. Он тотчас же воспользовался этим и перебрался с улицы Ломон на улицу Верней. Новая квартира также помещалась на антресолях, была не больше и не светлее прежней, но выглядела лучше, да и адрес звучал внушительнее. Он переехал из квартала, где бедность нередко выставляют напоказ, в квартал, где ее скрывают. Мало кто знал, что он женат, так как он нигде не появлялся с супругой.

В тот день Симон прохаживался взад и вперед по своему кабинету в министерстве и повторял: «Изабелла беременна... Изабелла беременна... Она уехала в Баньоль. От нее нет никаких известий... И зачем только я женился на Ивонне, когда вернулся с войны! – Он на минуту остановил взгляд на бронзовом орнаменте, украшавшем ножки его письменного стола. – Да все по той же причине, – ответил он себе. – Ивонне показалось, будто она беременна. Нет, право, все в жизни повторяется! Всегда попадаешь в одни и те же положения. И на этот раз снова девушка с печальным лицом...»

Он не мог не признать, что Ивонна и Изабелла походят друг на друга и физически и духовно, но Изабелла привлекала его тем, что принадлежала к иному кругу; ему нравилось и то, что благодаря этому роману он как-то сразу стал верить в себя. И с каждым днем ему все труднее становилось выносить бесцветное и покорное лицо Ивонны.

«Было бы просто великолепно, если бы сегодняшний Симон Лашом женился на Изабелле д'Юин!.. И зачем только я взвалил на себя тогда такую обузу?.. Так или иначе, завтра же переставлю свой диван в столовую!»

В то же время он перебирал в уме приятелей-медиков, к которым можно будет обратиться, если Изабелла, вернувшись из Баньоля, решится прибегнуть к хирургическому вмешательству. «Не надо делать из мухи слона... – Симон снова уставился на бронзовый орнамент с причудливыми изгибами. – Такие истории случаются сплошь да рядом с крестьянками, и деревенские бабки отлично справляются! Да и в Латинском квартале это обычное дело».

Сержант, дежуривший в приемной, вошел в кабинет и, щелкнув каблуками, подал Симону визитную карточку маркиза де Ла Моннери, который просил аудиенции «по личному делу».

Симон нервно протер большими пальцами стекла очков. Какое отношение имеет старик ко всей этой истории? Неужели госпожа де Ла Моннери попросила старшего деверя распутать этот узел? Но почему тогда маркиз пожаловал сюда лично, а не пригласил его к себе?

Внезапно Лашом представил, как это влиятельное семейство единодушно встанет на защиту одинокой, пусть бедной, но все же родственницы. Будь поэт жив, Симон мог бы ему объяснить – Жан де Ла Моннери умел понимать... Но остальные – с их предрассудками, с их презрением к людям, с их привычкой безапелляционно судить других... Напрасно Симон утешал себя тем, что они уже не в силах что-либо изменить: перспектива объяснения вызывала у него спазмы в желудке. Он закрыл окно, машинально навел порядок на столе и стал ждать удара: плебейское происхождение и отсутствие светского лоска мешали ему чувствовать себя с аристократами на равной ноге.

Урбен де Ла Моннери, чуть сторбленный, суровый, вошел в кабинет.

Симон сразу же заметил, что лицо старика как-то изменилось. Все та же щеточка жестких волос на затылке, те же отвислые складки под подбородком, те же уши с непомерно длинными мочками. Новыми были очки в золотой оправе; одно стекло, плоское и матовое, скрывало глаз, с которого недавно была снята катаракта, другой глаз, с увеличенным зрачком, мрачно сверкал сквозь выпуклое стекло. Все это было необычно и еще более усиливало смятение Симона.

Старик сел и положил перчатки на край стола.

– Сударь, – начал он, – я пришел к вам по поводу...

Тон у него был одновременно и резкий, и нерешительный: шаг, который маркиз собирался сделать, был для него труден. Съежившись, Симон сказал вполголоса:

– Да, я знаю...

– А, вы уже в курсе? Тогда это облегчает дело.

Симон понурил голову, взял со стола линейку и положил ее обратно.

– Позволю себе заметить, сударь, – продолжал старик, – что с моим младшим братом обошлись весьма несправедливо.

– С вашим... младшим братом? – растерянно повторил Симон, поднимая голову.

– С моим братом, генералом де Ла Моннери. Ведь мы говорим об одном и том же лице?

– Да-да, конечно, – сказал Симон. И тут же спросил: – Вы ничего не будете иметь против, если я отворю окно?

– Нет, наоборот... в ваших кабинетах очень жарко!.. Так вот, я прекрасно понимаю, что военных рано или поздно увольняют в отставку, но почему же на моего младшего брата распространяют особые меры, а более пожилых офицеров, имеющих отнюдь не лучший послужной список, оставляют в армии?

– Я не думаю, что здесь были применены особые меры, – на всякий случай заметил Симон.

Он совершенно не знал, о чем идет речь, и никак не мог собраться с мыслями. Его охватило глупое желание расхохотаться.

– О, я знаю, отлично знаю, что именно ему ставят в вину, – продолжал Урбен де Ла Моннери. – Он подал в отставку во время описи церковных имуществ. Я могу только одобрить его поступок, да и сам я поступил бы так же, если бы в то время был еще в армии. Мне неизвестны

ваши убеждения, сударь, но все это пора уже предать забвению. Республика тогда поступила дурно, но ведь мы-то об этом забыли!.. Я полагал, что ваша дружба с моим братом Жаном дает мне право...

«Жизнь поистине странная штука, – думал Симон. – Изабелла ждет ребенка от меня, а он и не подозревает об этом. Он занят своими маленькими делами. Госпожа де Ла Моннери, которой сейчас уже все известно, в свою очередь не знает, что один из ее деверей пришел ко мне просить за другого. И ни Изабелле, ни ее тетке даже и на ум не придет, что завтра я буду обедать у госпожи Этерлен. А госпожа Этерлен не догадывается, что племянница ее покойного любовника... И как раз на похоронах Жана де Ла Моннери я встретил Анатоля Руссо...»

У него было такое чувство, словно он в середине запутанного клубка, нити которого видны только ему. Или, вернее, что он находится на телефонной станции, где каждый абонент слышит только один голос, а он, Симон Лашом, слышит сразу всех и среди этого шума маркиз громко перечисляет заслуги своего младшего брата.

– Он может принести еще много пользы, – говорил Урбен де Ла Моннери. – Предельный возраст ничего не значит. Что за глупость! Есть люди, которые в пятьдесят лет уже окончательно опустошены, изношены. Другие же и в восемьдесят крепки, как старый кряжистый дуб, и голова у них более ясная, чем у многих юношей. Мой дед со стороны матери, маркиз де Моглев, умер восьмидесяти двух лет, упав с лошади... Не хочу ставить себя в пример, но ведь и мне уже семьдесят восемь. Так-то! Но у нас во Франции – во всем правила, законы, распространяющиеся на всех... И вот полезных людей увольняют, а неспособных оставляют!

Вначале маркиз был учтив и сдержан, но постепенно, против своей воли, разгорячился: лысина у него побагровела, глаз сверкал за толстым стеклом. Он откашлялся и сплюнул в платок.

– Мой брат на всех конных состязаниях с восьмидесятого по восемьдесят четвертый год брал призы на своих скакунах, – продолжал он. – Вы, конечно, были тогда слишком молоды и не можете помнить...

«Меня и на свете-то не было», – подумал Симон.

– ...он проделал три колониальных похода вместе с Галиени, командовал дивизией во время наступления в восемнадцатом году...

«Да, именно так, – думал Симон, – старый вельможа надрывается, кричит в телефон и хочет, чтобы его во что бы то ни стало услышали в путанице голосов».

– Мы принадлежим к числу людей, которые не любят говорить о себе, – сказал Урбен де Ла Моннери, постепенно успокаиваясь. – Но я всегда особенно заботился о брате Робере. Он у нас самый младший. Когда умер отец, ему было всего четыре года, а мне почти девятнадцать... Вот, сударь, все, что я хотел сказать. Не скрою, я приехал в Париж для того, чтобы заняться этим делом.

– Положитесь на меня, милостивый государь, – сказал Симон, вставая.

Он уже привык к этой формуле «положитесь на меня», общей для всех, кто обладает хотя бы малейшей долей власти.

– Я составлю донесение министру, – прибавил он, – или нет, я сам доложу ему, так будет лучше.

Маркиз де Ла Моннери взял свои перчатки, шляпу, поблагодарил Симона и учтиво извинился за то, что отнял у него время.

Проходя все еще твердой поступью по коридорам министерства, он думал: «Этот молодой человек как будто слушал меня внимательно; по-моему, он нам поможет».

4

За спиной министра высился до самого потолка огромный, подавляющий своими размерами, портрет Лувуа.

У Анатоля Руссо были такие короткие ножки, что для него приходилось класть на пол перед креслом ковровую подушку. Его руки непрерывно сновали от телефона к блокноту, от блокнота – к многочисленным бумагам, которые каждый день накапливались на письменном столе красного дерева.

Когда Симон Лашом заговорил о генерале де Ла Моннери, Анатолий Руссо воскликнул:

– Что-что? Мой милый Лашом, почему вы хотите снова вытащить на поверхность этого старого краба?

Для военного министра все генералы априори были «старыми крабами».

Симон Лашом разрешил себе заметить, что Роберу де Ла Моннери всего шестьдесят четыре года. Анатолий Руссо, которому было шестьдесят шесть, откинул назад посеребренную сединой прядь волос.

– Утверждают, будто армейская жизнь помогает человеку лучше сохраниться, – проговорил он. – Так вот, это неверно. Она превращает людей в мумии, только и всего! Военный в пятьдесят лет – конченный человек. Я не могу говорить об этом во всеулышание, но думаю именно так. В этом возрасте их всех надо бы увольнять в отставку. Они тупеют от гарнизонной жизни, от тропического солнца, от падения с лошадей, от соблюдения уставов. У них прекрасная выправка, это бесспорно! Но серое вещество их мозга каменеет. Время от времени появляются... в виде исключения... такие люди, как Галиени, Фош... Но они стратеги, это совсем другое дело... И лучшее доказательство...

Анатолий Руссо любил в конце дня пофилософствовать по пустякам, высказывая общеизвестные истины кому-либо из сотрудников, особенно Симону, которого считал самым интеллигентным человеком своего окружения. Он полагал, что жонглирование абстрактными идеями – неплохая тренировка для мозга.

– ...ведь это бесспорный факт, что из генералов никогда не выходили хорошие военные министры. Возьмите, к примеру, Галифэ! Сплошные беспорядки! Вспомните Лиотэ! Чего он добился?.. Видите ли, человек лучше сохраняется, участвуя в политической борьбе. Здесь побеждает не оружие, а интеллект. Помните, что говорит Бергсон об истинном времени и о времени, которое показывают стенные часы? Так вот, военные отстают, как часы... Дайте-ка мне папку с материалами о тех, кого увольняют в отставку.

Уже держа бумаги в руках, он внезапно спросил:

– Постойте, Ла Моннери, Ла Моннери... А не было ли у вашего Моннери какой-то истории во время описи церковных имуществ?

– Возможно... Кажется, он действительно... – ответил Симон, удивляясь, как можно после четырехлетней войны, унесшей полтора миллиона жизней, придавать какое-то значение этой давней главе современной истории.

– К тому же он, очевидно, и антидрейфусар. Вы что же, милейший Лашом, хотите, чтобы у меня были неприятности с радикалами? Будьте осторожны, дружеские связи с Сен-Жерменским предместьем вас погубят... Должно быть, у вас завелась дама сердца в аристократических кругах, вот вам и хочется доставить им удовольствие!

Застигнутый врасплох, Симон отрицательно покачал головой. Министр, отечески улыбаясь, наблюдал за ним.

– Подумать только, все мы начинаем одинаково! – воскликнул Анатолий Руссо. – Влюбляемся в молоденьких графинь! Они знакомят нас со множеством людей, обладающих громкими именами, те смотрят на нас, как на забавных зверушек, а нам их внимание льстит! Затем

обнаруживаешь, что все это пустая трата времени! Аристократы кичатся тем, что они плюют на Республику, а сами постоянно что-нибудь клячат у нее.

Глядя на смутившегося большеголового Симона, министр улыбался своим воспоминаниям и собственному опыту. Но вдруг лицо его стало серьезным.

– Да, пока не забыл, – сказал он, щелкнув пальцами. – Через два дня у меня завтрак с Шудлером. Предпочитаю встретиться с ним вне стен министерства. Закажите, пожалуйста, для меня у Ларю отдельный кабинет на пять человек.

– Сын Шудлера женат на дочери Жана де Ла Моннери, племяннице генерала, – заметил Симон.

– Однако вы, очевидно, серьезно заинтересованы этим делом! – воскликнул министр. – Подождите, в каком он чине, ваш старый краб? Бригадный генерал? Возможно, его утешит, если он уйдет в отставку дивизионным генералом? Только бы это не вызвало бури в канцелярии!

Он что-то быстро записал на листке бумаги и вложил его в папку.

– Прошу вас обязательно зайти в ресторан, – прибавил он, – и позаботиться, чтобы все было как полагается. Увидите, они там очень предупредительны, ну а вы все же будьте... очень требовательны.

И Анатоль Руссо вновь погрузился в важные дела.

5

Госпожа де Ла Моннери сочла неприличным беседовать с Оливье Меньерэ в своем номере, а холл гостиницы, где все время сновал народ, также казался ей неподходящим местом. Поэтому она решила дожидаться их ежедневной прогулки по берегу озера.

Минут десять они шли, обмениваясь лишь обычными банальными фразами. Господин Меньерэ сдержанно упомянул о вчерашнем концерте, не решаясь спросить свою спутницу о причинах ее отказа. Но он убедился, что она здорова.

Внезапно она сказала своим резким тоном:

– Оливье! Вот уже лет тридцать вы ухаживаете за мной! Не так ли?

Господин Меньерэ остановился и покраснел до корней волос.

– Да, – продолжала она, – и даже немного компрометировали меня этим. Многие убеждены, что вы были и по сию пору состоите моим любовником.

– Вы же прекрасно знаете, дорогая Жюльетта, что все зависело только от вас... – нетвердым голосом ответил Оливье Меньерэ.

– Да, это так. И, признаюсь, многое, быть может, изменилось бы, умри Жан лет на двадцать раньше...

Они еще немного прошли вперед.

– Так вот, Оливье, мне кажется, у вас появилась возможность доказать мне свою любовь, – продолжала она.

Он снова остановился и сжал ее руки.

– Жюльетта! – воскликнул он, задыхаясь от волнения.

– Нет, нет, мой бедный друг, речь идет не об этом, – проговорила госпожа де Ла Моннери. – Не будьте смешным. Да не стойте же на месте, незачем привлекать к себе внимание! Для чего мне снова выходить замуж? А что касается всего остального... взгляните-ка на нас со стороны!

– Да, вы правы, – ответил Оливье Меньерэ с грустной иронией. – Пожалуй, поздновато. Но тогда что же вы имеете в виду? Чем я могу быть вам полезен?

– Вот чем. Моя племянница наделала глупостей. Она позволила соблазнить себя мелкому авантюристу. Результат прекрасного нынешнего воспитания! А теперь... теперь она бере-

менна. Да не останавливайтесь вы каждую минуту!.. Нет, нет, прошу вас, не надо выражать сочувствие. Я сама знаю, как должна к этому отнестись. И он, конечно, женат. А девочка хочет сохранить ребенка.

– Вот это я одобряю, – сказал Оливье.

– Я тоже. Такая нравственная щепетильность делает ей честь, хоть она и проявилась поздно. Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, что произойдет. Стыд и срам, скандал на весь Париж! Старость, должна признаться, и без того не сулит мне ничего веселого... А что же будет с этой дурочкой?.. На что она может рассчитывать после всего случившегося?

– Мой бедный друг! Что же вы собираетесь делать?

Госпожа де Ла Моннери глубоко вздохнула.

– Вот что, Оливье, – сказала она, – я хочу попросить вас оказать мне услугу. Женитесь на Изабелле.

– Как? – изумился ее спутник.

На этот раз он на несколько секунд замер в неподвижности, потом снял канотье и вытер побагровевший лоб.

– Если вы великодушно согласитесь на это, такой выход более или менее устроит всех. А я думаю, вы дадите согласие, если только я не обманываюсь в ваших чувствах ко мне... Заметьте, друг мой, это будет не так уж плохо и для вас. В ваши годы необходимо, чтобы о вас кто-нибудь заботился. Девочка, бесспорно, совершила глупость, но это не помешает ей быть прекрасной женой. В сущности, ее общество принесет вам развлечение.

Оливье не отвечал. Они подошли к плакучей иве. Длинные ноги Оливье Меньерэ подкашивались, и он предложил присесть. Обмахнув платком зеленую скамью, он усадил госпожу де Ла Моннери в тенистое местечко и, усевшись рядом с ней, уронил руки между колен. Некоторое время он смотрел на озеро. Гордо, как галера, проплыл старый черный лебедь.

– Как я буду выглядеть? – произнес он наконец. – В мои-то годы! Молодая жена... и потом сразу ребенок... Кто же всему этому поверит?

– Зато приличия будут соблюдены... – ответила госпожа де Ла Моннери.

– Вы уже говорили с Изабеллой?

– Нет.

– И вы полагаете, она согласится? – спросил он.

– О, ручаюсь! – воскликнула госпожа де Ла Моннери. – Не хватало еще, чтобы она вздумала ломаться!.. Не стучите палкой по скамье, меня это раздражает.

– Да я не стучу, Жюльетта.

– Да? А мне показалось...

С минуту они молчали. На темную мерцающую гладь озера упало несколько ивовых листьев.

– Нет, нет, – сказал он. – Я старый холостяк, мне пришлось бы изменить все свои привычки. В наши годы это невозможно... Если бы речь шла еще о вас, тогда другое дело.

– Что вы сказали! Говорите громче!

– Я сказал: если бы речь шла о вас, я бы ни минуты не колебался, и вы это отлично знаете.

– Я тоже хотела бы провести последние годы жизни возле вас, Оливье. Нас связывает глубокая дружба. Да и само сознание, что кто-то может еще думать о тебе, что ему приятно быть рядом с тобой...

В ее голосе слышалось волнение.

– Так в чем же дело, Жюльетта? – обратив к ней печальный взгляд, медленно проговорил он. – Почему бы нам так не поступить?

– Не всегда делаешь то, что хочешь. Мне, например, всю жизнь приходилось поступать как раз наоборот, – ответила она. – И потом, мы тоже выглядели бы несколько смешными. Постараемся же, по крайней мере, из смешного положения извлечь пользу.

Она помолчала, словно обдумывая свои слова, затем прибавила:

– Решайтесь же, старый друг! Окажите мне эту огромную услугу. Женитесь на моей племяннице.

Оливье тяжело вздохнул. Он колебался.

– Хорошо... но только потому, что я вас очень люблю, Жюльетта, – произнес он.

Госпожа де Ла Моннери положила свою руку на руку Оливье и пожалала ее.

– Я была уверена в вас. Вы замечательный человек, – сказала она.

Оливье поднес к губам ее руку, затянутую в черную кружевную перчатку. В глазах у него стояли слезы.

– Но прежде, Жюльетта, я должен сделать вам одно признание.

– Какое? – удивилась она.

– Все думают, что я незаконнорожденный сын герцога Шартрского. Так вот, моя мать, возможно, и в самом деле была близка с герцогом... но только после моего рождения и...

– Послушайте, – прервала его госпожа де Ла Моннери, – у меня и без того достаточно забот! Если столько лет в обществе твердят одно и то же, это в конце концов становится правдой. И потом, почему вы говорите так уверенно? Вы ведь очень похожи на Орлеанов...

– Это просто случайность, – ответил Оливье и с печальной иронией добавил: – Быть может, когда-нибудь скажут, что и ребенок Изабеллы похож на герцога Шартрского...

6

К семи часам вечера госпожа де Ла Моннери наконец убедила свою племянницу.

– Денег у него больше, чем у тебя, так что этот брак ни у кого не вызовет подозрений. Через три дня, как только он приведет в порядок свои дела, вы уедете в Швейцарию. Поедете отдельно. Оттуда запросите свои документы и поженитесь. Все можно устроить за две недели. Чтобы скрыть точную дату рождения ребенка, Оливье согласен прожить в Швейцарии целый год. Тебе очень повезло, моя милая, хотя ты этого и не заслуживаешь... Помни: ты всем обязана мне. Ведь он нынче мне самой сделал предложение. Не говоря уж о том, что я могла дать согласие, должна признаться: столь долгая разлука будет для нас обоих довольно тяжела... Ведь Оливье человек нашего круга. Он сын... словом, его считают... Ну, ты сама знаешь кем! Он незаконнорожденный, но для тебя это вполне подходит. К тому же у тебя нет выбора. В общем, так и будет! Войдите!

Обед состоялся в ресторане гостиницы «Терм»; вокруг шептались дамы не первой молодости, приехавшие в Баньоль спастись от недугов критического возраста, или старые дамы, продолжавшие ездить сюда по привычке; пронзительно лаяли их собачки, шелестели зеленые растения в горшках, вставленных в пестрые майоликовые вазы.

Оливье, как всегда по вечерам, был в смокинге. Чтобы выглядеть моложе, он вдел в петлицу гвоздику. Этот робкий человек, у которого в шестьдесят восемь лет дрожал голос, когда он обращался к женщине, сразу приступил к делу, на что не посмел бы решиться и более уверенный в себе мужчина. Он воспользовался тем, что госпожа де Ла Моннери задержалась, отдавая какое-то приказание швейцару.

– По-видимому, этот обед устроен в честь нашей помолвки, милая Изабелла, – сказал он. – Когда вы были девочкой и я играл с вами в доме вашей тети – а было это не так уж давно, – мне никогда и в голову не могло прийти, что нам предстоит соединить свои судьбы... вернее, соединить вашу судьбу с тем, что еще осталось от моей... Я прекрасно понимаю, что жених я не слишком завидный, и не жду от вас бурного проявления радости.

Он словно извинялся.

– Я полагаю, – продолжал он, – что вашему желанию отвечал бы фиктивный брак. Будьте спокойны. В моем возрасте трудно рассчитывать на что-либо иное.

Произнеся эти слова, он покраснел и, посмотрев на косые линии паркета, прибавил:

– Я хочу просить вас только об одном... Имя, которое я ношу, не отличается особым блеском, но оно ничем не запятнано... Обещайте мне уважать его... словом, вести себя корректно... Вот все, о чем я вас прошу.

В эту минуту к ним присоединилась госпожа де Ла Моннери.

– О, клянусь вам в этом! – искренне ответила Изабелла.

Она глядела на смущенного семидесятилетнего жениха, с которым ее связала судьба. У него был широкий пробор, тянувшийся до самого затылка, руки, покрытые коричневыми пятнами, большое, гладко выбритое, чуть обрюзгшее лицо. В движениях еще сохранилась гибкость.

«В сущности, у него много общего с моим дядей, но в то же время он не похож на него», – подумала Изабелла.

Все происходящее казалось ей чем-то не совсем реальным, словно ее заставили жить чужой жизнью. Оливье опрокинул перечницу и сильно сконфузился.

– Я постараюсь, дорогая Изабелла, не слишком долго мешать вам. Сделаю все, что в моих силах. И все же мне хотелось бы пожить еще несколько лет. А потом вы сможете посвятить свою жизнь более приятному спутнику.

Беседу, прерывавшуюся резкими замечаниями госпожи де Ла Моннери, он вел с присущей ему грустной и немного старомодной иронией, не лишенной своеобразной прелести. Он много читал, любил книги и понимал в них толк. Он интересно рассказывал о Румынии, где ему довелось побывать. Ездил он когда-то и в Петербург.

Изабелла была признательна ему за то, что все время он вел непринужденный разговор. Она чувствовала огромное, несказанное облегчение от того, что этот старый человек из милосердия не даст обществу обрушиться на нее. Пройдут месяцы, она станет ждать появления ребенка. Буря утихнет. Ей вспомнились слова Лартуа: «Надо тотчас же спросить себя, сколько времени понадобится, чтобы это уже не причиняло страданий...» Приблизительно так и получилось... И тут она вспомнила, как Лартуа набросился на нее в своем врачебном кабинете; она даже улыбнулась – теперь все это уже казалось ей какой-то ребяческой выходкой.

Оливье говорил об истории рода Орлеанов, написанной Тюро-Данженом, ученым секретарем Академии, которого госпожа де Ла Моннери хорошо знала... От Оливье веяло сдержанной, но незаурядной добротой.

– Друг мой, – неожиданно сказала Изабелла со слезами на глазах, – мне хочется вас поцеловать.

Он покраснел.

– Благодарю вас, – произнес он, потупившись.

– Видите, видите! – воскликнула госпожа де Ла Моннери. – Она бросается на шею каждому.

Госпожа де Ла Моннери была мрачна. Она думала о том, что если Оливье сидит в этот вечер здесь, в ресторане, и намерен жениться на ее племяннице, то это оказалось возможным лишь потому, что она долгие годы отвергала его ухаживания. «Уступи я ему, все давно уже было бы кончено и забыто. А теперь, по крайней мере, моя стойкость оказалась полезной». Но мысль эта не очень ее утешила. Тень сожаления преследовала ее после памятной прогулки. «А может, ничего не изменилось бы и Оливье все равно был бы тут? Впрочем, какое значение это имеет в моем возрасте?»

Обед подходил к концу, подали компот из вишен, плававших в розовом сиропе.

– Жюльетта, мне хотелось бы знать, как вы лепите свои фигурки, свои куколки? – спросил Оливье.

– О, что может быть проще! – ответила польщенная госпожа де Ла Моннери. – Сейчас увидите... Метрдотель! Пожалуйста, принесите мне кусок хлеба, и побольше!

Метрдотель не удивился. У каждой из его старых клиенток были свои причуды. Одна требовала крылышко цыпленка для своей собачки, другая ставила в вазу с водой искусственные цветы.

Госпожа де Ла Моннери отделила от корки хлебный мякиш и долго его мяла; потом в ее быстрых пальцах, на которых сверкали два кольца, замелькали крохотные головка, руки, ноги. Она вылепила ступни, потом кисти рук. Прежде она никогда бы не решилась показать свое искусство при людях. Но в этот вечер ей хотелось блеснуть перед Оливье.

– Удивительно! Вы настоящая художница! – восхищался Оливье.

Госпожа де Ла Моннери достала из сумочки папиросную бумагу, одела фигурку и поставила на стол готовую балерину с поднятыми руками.

– Вот и все! – сказала она. – Пусть она хорошенько просохнет, а потом ее можно будет раскрасить.

Оливье нерешительно произнес:

– Вы мне разрешите, Жюльетта... взять ее и сохранить... увезти с собой?..

Для Изабеллы вся трудность заключалась сейчас в том, чтобы объявить о своем отъезде Симону; она была честна от природы и считала необходимым сообщить ему, что решила по-новому устроить жизнь и приняла обязательства, которые намерена выполнять.

7

В тот самый час Симон обедал в Булонь-Бийанкуре у госпожи Этерлен. Он явился с букетом роз.

– Чудесные цветы! – воскликнула хозяйка дома. – И как благоухают! Вы даже представить себе не можете, какое вы мне доставили удовольствие.

Маленький дом был весь заставлен высокими букетами лилий, золотистые пестики которых множество раз отражались в зеркалах и стеклах витрин. От лилий исходил одуряющий запах.

Симон нашел, что у его букета весьма скромный вид, и восторг госпожи Этерлен показался ему преувеличенным. Она потребовала вазу, сама расположила в ней цветы и поставила розы на белый мраморный столик, где они выглядели весьма эффектно.

– Как прелестно они сочетаются с рисунком мрамора, не правда ли?.. – произнесла она. – Вы чем-то озабочены, господин Лашом? Надеюсь, ничего неприятного? Это все ваша служба. Вы слишком много работаете! Я пригласила нескольких друзей, с которыми вам было бы приятно встретиться. Но, увы, они сегодня заняты. Хотел приехать Лартуа. Но и он в последний момент сообщил, что не может быть: у него срочная консультация. К сожалению, я могу предложить только свое общество. Боюсь, вам будет скучно!

Она налила золотистое, сладкое, как сироп, карфагенское вино в такие причудливые, изогнутые и хрупкие бокалы, что было страшно, как бы их не раздавить в руке.

– Представьте себе, этот Карфаген – всего лишь деревушка к северу от Безье, – объяснила она. – Там каждый год готовят несколько бутылок такого вина. Его открыл Жан. Он утверждал, будто название деревни повлияло на вкус... Кажется, сама Саламбо пила такое вино. Впрочем, возможно, солдаты армии Ганнибала...

Они обедали в глубине гостиной – в своего рода ротонде – за низеньким круглым столом, украшенным мозаикой в бронзовой оправе; сидеть за ним было на редкость неудобно: некуда было девать ноги. Мари Элен Этерлен, по-видимому, хорошо приноровилась к этому столу, едва возвышавшемуся над полом. Она сидела, выпрямившись, на мягком пуфе, откинув ноги в сторону, и ела, изящно действуя хрупкими руками.

– Это Жану пришла в голову мысль так оправить мозаику, – сказала она.

Произнося слово «Жан», она растягивала первую букву, а затем делала едва уловимую паузу. И каждый раз, когда она произносила это имя, Симон вспоминал Изабеллу.

Им прислуживала единственная горничная госпожи Этерлен, молчаливая и незаметная. На столе в старинных итальянских канделябрах, украшенных серебряными листьями в позолоте, горели свечи.

– Современные варвары приспособили эти канделябры для электричества, – проговорила госпожа Этерлен. – Но я вернула им их истинное назначение.

Сделав это, она упустила из виду отверстия, сквозь которые «варварами» были пропущены провода, и теперь стеарин капал через эти дырочки на мозаику и на рукав Симона, когда тот протягивал за чем-либо руку.

Остальные источники света были скрыты от глаз, но тем не менее расцветивали всеми цветами радуги венецианские бокалы, стеклянные гондолы, перламутровые веера и отбрасывали снопы ярких лучей на зеркала.

После тонких, изысканных, но несытных кушаний горничная принесла мисочки с теплой водой, в которых плавали лепестки цветов. Госпожа Этерлен окунула в теплую воду пальцы с холеными бледно-розовыми ногтями. Симон также опустил в мисочку свои волосатые пальцы с четырехугольными ногтями. Их руки ритмично двигались, как танцоры в балете.

– Знаете, почему ваши цветы так меня растрогали? – вставая из-за стола, спросила она. – Ведь сегодня день моего рождения.

– О, если б я знал!.. – воскликнул Симон.

Впрочем, он и понятия не имел, что сделал бы в этом случае.

– Но все же угадали! Ведь вы пришли и принесли мне цветы... И если б не вы, я была бы сегодня совсем одна. Да, мне исполнилось сорок четыре... Как глупо, что я говорю вам об этом. Но знаете, грустно, когда в жизни женщины наступает такое время, – она указала на букеты лилий, – что приходится самой себе покупать цветы...

Тронутый не столько смыслом ее слов, сколько прозвучавшей в них печалью, которая напомнила Симону о его собственных горестях, он готов был открыться ей и воскликнуть: «Я тоже несчастен, и вы мне очень помогли вашим карфагенским вином, позолоченными зеркалами и мисочками для омовения пальцев. У меня с Изабеллой...»

– Я хочу отыскать для вас стихи Жана; до сих пор я не осмеливалась их вам показать, – сказала она. – А потом и мои, если только я вам этим не наскучу.

Она выдвинула ящик стола, на мраморной доске которого стояли розы, достала оттуда пачку листков, тетрадь в красном сафьяновом переплете и положила все это перед Симоном.

Стихи оказались игривыми, эротическими, а рифмы нередко непристойными; написаны они были отличными чернилами. В отдельных местах рука поэта явно дрожала; пометки, которые обычно так волнуют при чтении рукописи, в данном случае коробили.

Симону было неловко, и он не знал, как себя вести.

Госпожа Этерлен с чуть покровительственной улыбкой смотрела на него и повторяла:

– О, какое стихотворение! Необыкновенно, правда? Просто поразительно, с каким блеском и остроумием он умел говорить о таких вещах!..

Грудь ее взволнованно поднималась. Но тут она заметила, что собеседник не разделяет ее восторга.

– Вы, очевидно, не очень любите этот жанр?

Она явно была разочарована.

– Нет, что вы, что вы! – поторопился ответить Симон. – Это и в самом деле удивительно... Стихи мне нравятся... но я и не подозревал...

Он старался читать как можно быстрее и в то же время не слишком быстро, чтобы не обнаружить полного своего безразличия. Ему тошно было читать строки, которые он сейчас пробежал глазами. Его чувство преклонения перед писателем было оскорблено; он походил

на человека, который, любуясь прекрасным памятником, внезапно замечает, что постамент подгнил.

Несколько раз госпожа Этерлен возвращалась к этой теме, но Симон не поддерживал разговора: он не умел вести беседу, полную двусмысленных намеков. Смятение его все возрастало, и он мысленно проклинал недостатки своего воспитания.

Он почувствовал облегчение, когда они перешли к тетради в красном сафьяновом переплете, содержащей стихотворения самой госпожи Этерлен.

Стихи были возвышенные, но плохие и представляли собою слабое подражание ранней поэзии Жана де Ла Моннери. Они были начертаны тонким паукообразным почерком на кремовых страницах с золотым обрезаем. Поэт внес в них несколько исправлений. Особенно беспомощно звучало последнее стихотворение – на смерть Жана де Ла Моннери. В тетради оставалось еще много незаполненных страниц.

– Это все, – сказала госпожа Этерлен.

Симон с жаром похвалил ее. Она поблагодарила с непритворной скромностью. Она была неглупа и понимала, что стихи ее плохи, но не могла удержаться, чтобы не показать их.

На ней было черное платье со вставкой из тюля. Сквозь тонкую сетку просвечивали нежные белые плечи, двойные бретельки – бюстгальтера и шелковой комбинации, худенькая рука, рука еще молодой женщины. У нее была небольшая грудь.

«Почему она показалась мне такой старой, когда я увидел ее в первый раз? – подумал Симон. – Странно, ведь она совсем не стара».

Закрыв тетрадь и собрав листки с фривольными стихами, она сидела, слегка наклонясь, на ручке кресла, совсем близко от Симона. Кожа на ее стройной шее отливала слоновой костью, тонкие пепельные волосы, собранные на макушке, переходили в косу. Одно ухо слегка оттопыривалось. От нее исходил запах гелиотропа, он смешивался с ароматом лилий, пряное благоухание которых наполняло всю комнату.

Он поцеловал склоненную шею. Госпожа Этерлен выпрямилась, взглянула на Симона; было непонятно, как могли такие маленькие глаза столько выражать. Их лица были совсем близко. Она привлекла к себе голову Симона.

Около полуночи госпожа Этерлен в легком розовом пеньюаре, с распущенной длинной косой спустилась в кухню за ветчиной, маслом и хлебом.

Симон ушел немного позже. Она проводила его до крыльца, выходящего в сад. Он называл ее Мари Элен. Теплая лунная ночь была прекрасна, на небе сияли звезды. Откуда-то издали, с реки, доносился стук мотора на катере. Госпожа Этерлен прижалась лицом к груди Симона.

– Как это было чудесно! – прошептала она. – О, как давно, как давно я не испытывала ничего подобного. Ведь бедный Жан... в последнее время, надо признаться... И потом, ты так молод! Это изумительно! В твоих объятиях я чувствую себя такой чистой. Помнишь стихи Жана:

Но девушка в тебе не может умереть,
Ты донесешь ее с собой до преисподней...

Симон унес с собой следы проведенного у нее вечера: пиджак его был осыпан рисовой пудрой и пылью лилий, закапан стеарином. Ему все время представлялась гипсовые, пустые глаза бюста, стоявшего в спальне, и слишком толстые ноги госпожи Этерлен.

В первый раз он усомнился в значительности творчества Жана де Ла Моннери и задавал себе вопрос: так ли уж неправы те, кто не признает его таланта? В то же время он бормотал сквозь зубы: «Я подлец, подлец. Изабелла беременна, она в Баньоле. А я только что... с этой женщиной, которая ненавидит ее».

И мысль о собственной подлости наполняла его приятным сознанием того, что он настоящий мужчина.

Когда на следующий день Изабелла вернулась и объявила ему о своем отъезде, о предстоящем браке с Оливье Меньерэ и о твердом своем решении уважать этот союз, Симон изобразил глубокое отчаяние. Он беспрестанно повторял:

– О, если бы я не был женат, если бы я не был женат...

Симон и Изабелла поклялись друг другу сохранить свою любовь до того времени, когда у них появится возможность снова быть вместе. Нет, они, конечно, не желали смерти такому превосходному человеку, как Оливье. Изабелла обещала воспитать в сыне любовь к литературе, развивать в нем духовные интересы. Им и в голову не приходило, что может родиться девочка. Изабелла уже предвидела день, когда их сыну исполнится восемнадцать лет и она откроет ему правду.

– Тогда я уже превращусь в старую, почтенную даму с седыми волосами... а вы, вы станете к тому времени знаменитым человеком. Иногда вы будете приходить ко мне обедать, и мы, как прежде, сможем держать друг друга за руки...

Но в глубине души каждый знал, что ничего этого не будет, и их огорчала не столько сама разлука, сколько то, что она знаменовала конец определенного этапа их жизни.

Теперь Симон уже радовался тому, что успел завести интрижку с госпожой Этерлен.

Несколько раз в неделю он по вечерам посещал маленький домик в Булонь-Бийанкуре. Была пора летних отпусков. Париж опустел. Служба в министерстве вынуждала Симона оставаться в городе, и без Мари Элен вечера его были бы тягостными; благодаря ей он преодолел период душевного одиночества.

Мари Элен переменила прическу, теперь она косами прикрывала уши; это позволяло ей прятать оттопыренную мочку и, как она думала, молодило ее. Она немного укоротила платья, однако не решалась следовать последней моде и выставлять напоказ свои ноги.

Однажды она сказала Симону:

– Я прекрасно понимаю, что мне не удержать тебя. Когда любовник намного старше, живешь в постоянном страхе, что смерть его унесет. А когда он молод, боишься других женщин. Так или иначе, его неизбежно теряешь.

Симону нравилось бывать в этой уютной и вычурно обставленной квартирке, где за каждой вещью стояла тень великого человека. Иногда он встречал там пожилых людей, пользующихся широкой известностью. Его манеры, речь, даже костюм постепенно становились более изысканными. Он слегка поддавался жеманной меланхолии Мари Элен Этерлен, которая внезапно сменялась у нее порывами пылкой страсти. Словом, это была именно та самая любовь, какой жаждала Изабелла, когда мечтала об их будущем.

Впервые он думал спокойно о своем плебейском происхождении и не старался отогнать воспоминания о тяжелом детстве. Напротив, он теперь часто вспоминал о нем и, чтобы доставить себе удовольствие, сравнивал прошлое с настоящим. Окуная пальцы в мисочку с розовыми лепестками, он говорил себе:

«Да, Симон, это ты, именно ты, сын мамаша Лашом, сидишь сейчас тут!»

Он больше не завидовал другим; напротив, отныне другие могли завидовать ему, и, следовательно, у него были все основания чувствовать себя счастливым.

8

Полковник гусарского полка появился, застегивая на ходу перчатки, окинул взглядом плац, внес тут же несколько устных изменений в служебную записку, составленную накануне. У него был озабоченный вид, он только что перечитал соответствующие случаю статьи устава.

Солнце уже поднялось над крышами, но золотистая пелена тумана еще плыла в конце Тарбской равнины по нижним уступам Пиренеев.

Войска были выстроены с трех сторон военного плаца, а трубачи и оркестр расположились справа и слева от главного входа, спиной к ограде, за которой уже толпились зеваки.

Гусары, вставшие на заре, чтобы успеть привести в порядок лошадей и начистить до блеска оружие, перетаскивали на голове седла и уже несколько часов без устали бегали вверх и вниз по лестницам, подгоняемые криками сержантов; только теперь они наконец получили первую короткую передышку. Лошади били о землю копытами, смазанными салом.

Со всех сторон слышалось:

– Хватит!.. Надоело!..

Батальон пеших егерей, принимавший участие в церемонии, только что прошел через весь город ускоренным маршем, с подчеркнута молодевакой выправкой. Солдаты, одетые в темно-синюю форму, обливались потом и еще не успели отдышаться.

– Слушай мою команду!.. – крикнул полковник гусарского полка таким странным, протяжным голосом, словно в горле у него рокотало эхо.

Часы на главном корпусе показывали без четырех минут десять. Глаза из-под касок глядели на большую стрелку, все испытывали нервное напряжение. Никто не мог бы объяснить почему, но внезапно церемония стала казаться важной.

– На караул! – приказал полковник.

Металлические голоса пехотных офицеров повторили команду, и в ту же минуту с той стороны, где расположилась кавалерия, донеслось:

– Са-аб-ли наголо!

Прошло три секунды, и плац, усыпанный светлым песком, превратился в огромный квадрат, охваченный глубоким молчанием. Выстроенные по его краям войска, оцетинившиеся сверкающими на солнце штыками и клинками сабель, напоминали ровно подстриженную живую изгородь. Каждый солдат, частица этой изгороди, был охвачен волнением, не имевшим ничего общего с обычными человеческими чувствами: то было воинское волнение. Застыть недвижно на горячем коне, устремив взгляд в одну точку, с обнаженной двухкилограммовой саблей в правой руке и четырьмя ремнями поводьев в левой – все это уже само по себе приводило всадников в неестественно возбужденное состояние, похожее на то, какое достигается с помощью некоторых упражнений йогов и способствует возникновению полной отрешенности. Состояние это исключало всякую мысль и рождало в душах оцепеневших людей некую пустоту.

Только в такой пустоте и могла утвердиться во всем своем величии самая значительная в армии легенда, более властная, чем долг перед родиной, более возвышенная, чем верность знамени, – легенда о генерале.

Кавалеристы проявили осмотрительность, и солнце било прямо в глаза пехотинцам.

Генерал прошел через ограду и вступил на белый квадрат песка; правильнее было бы сказать – генералы, так как их было двое. Но второй в расчет не принимался: он походил на собаку, которая бежит рядом с хозяином.

А настоящий генерал, тот, что воплощал собою легенду, был высок, строен, элегантен. Он шествовал в расшитой золотом фуражке, выбрасывая вперед негнущуюся ногу; гордая, чуть небрежная поступь подчеркивала всю его важность. Трость в руке генерала, казалось, взята была просто для щегольства.

Он остановился и грустным взглядом обвел ряды сверкающих клинков, ровную линию локтей, вытянутые шеи и мощные стати лошадей.

Церемония была назначена по его приказу, но повод к ней вызывал в нем горечь, а вид ее – боль. Внешне генерал с лентой командора выглядел бесстрастным, однако на щеках у него играли желваки, а рука судорожно сжимала трость.

– Вольно! – скомандовал он.

Он все время чувствовал, что у него в кармане мундира лежат три напечатанных на машинке листка. Время от времени он их ощупывал сквозь материю. Текст этих документов он знал уже наизусть: «Приказом военного министра от 29 июля 1921 года бригадному генералу Роберу Фовелю де Ла Моннери присвоено звание дивизионного генерала...», «Приказом военного министра от 29 июля 1921 года дивизионный генерал Робер Фовель де Ла Моннери отчислен в резерв сухопутных войск...», «Приказом военного министра на место дивизионного генерала Робера Фовеля де Ла Моннери назначен...» Три фразы, переплетавшиеся и взаимно дополнявшие друг друга, завершили ту головоломную игру, которую он начал сорок пять лет назад почти в такой же обстановке – во время торжественной присяги в военном училище Сен-Сир.

На протяжении полувека он последовательно занимал чуть ли не все офицерские должности, существующие в армии; после каждого повышения в звании или изменения в командовании, после каждой перемены гарнизона или передислокации, после каждых маневров и каждой кампании, после каждой новой раны или награды четкое каре перестраивалось, и всякий раз он занимал в нем новое место, пока не достиг того видного поста, какой занимал сейчас. В конечном счете перестройка этого каре для него сводилась к положению Робера де Ла Моннери в разные периоды его юношества и зрелости, когда он носил различные эполеты и имел разные чины. Он как бы повторялся в сотнях людей, окружавших его с четырех сторон... Но вот каре замкнулось, головоломная игра была завершена. У генерала вдруг все закружилось перед глазами.

«Нездоровится, – подумал он. – Верно, от жары».

Солдаты на минуту опустили оружие, словно для того, чтобы поблагодарить генерала за снисходительность, но тут же клинки взметнулись над головами. Полковник скомандовал:

– Равнение на знамя!

Горнисты дружно вскинули фанфары, и солнце заиграло на медных раструбах. Адьютант-корсиканец Сантини, держа у ноги древко знамени с золотым наконечником, сидя в седле как влитой, поскакал манежным галопом в сопровождении двух вахмистров; круто осадив коня, корсиканец остановился как вкопанный в двадцати шагах перед генералом. Тот в знак приветствия поднял руку к околышу фуражки жестом, который завтра будут копировать все молодые лейтенанты. При этом он думал: «Так оно и есть: в центре картины – знамя, развевающийся шелк». И в столь торжественную минуту прощания с армией ему назойливо лезло в голову сравнение этой церемонии с детской игрой: совсем недавно он подарил своему внуку Жан-Ноэлю игру, называвшуюся «Парад». Хорошая игрушка, она стоила сто франков. В его памяти всплыла крышка коробки: на ней яркими красками была изображена картина, которую нужно сейчас воспроизвести.

Знаменосец пехотного батальона упругим строевым шагом подошел и встал рядом с кавалерийским штандартом.

– Вольно! – повторил генерал.

Он сделал шаг вперед, еще более отделяясь от группы офицеров и других сопровождавших его лиц, посмотрел по сторонам и крикнул:

– Офицеры, сержанты и солдаты воинского соединения Верхних Пиренеев! Я счастлив представить вас вашему новому командиру... генералу Крошару!

Медленно, звучным и приятным голосом, который был хорошо слышен всем, он произнес хвалебную, но краткую речь о «доблестном офицере, вышедшем из рядов пехоты, этого испытаннейшего рода войск». Попутно он воздал должное и батальону егерей. Он призвал войска выказывать новому командиру, «воспитанному в лучших традициях высших армейских начальников», все то уважение и повиновение, каких он достоин.

Затем, намеренно сделав паузу, закончил:

– Одновременно я хочу сказать «прощайте»... – здесь он очень естественно откашлялся, скрыв этим свое волнение, – шамборанским гусарам, одному из самых старых полков легкой кавалерии, наряду с гусарами Эстергази, в рядах которых я имел честь впервые служить как командир. – Он опять откашлялся. «Однако не следует распускаться, – подумал он, – пора кончать...»

– Я говорю «прощайте» представителям того рода войск, с которым связана вся моя жизнь: кавалерии!

Генерал вложил всю душу в последние слова, но они никого не растрогали, кроме него самого. В окнах лазарета симулянты, облокотясь о подоконники, смотрели на парад и говорили, позевывая:

– Гляди-ка, старик-то не меньше нас рад выйти вчистую!

Генерал Крошар, тот самый, что походил на собаку, бежавшую рядом с хозяином, в свою очередь выступил вперед. Он ожидал, что о его заслугах будет сказано гораздо больше, и поэтому был обижен. К тому же его раздражало, что кавалеристы имеют обыкновение давать своим полкам старорежимные названия. Он охотно опустил бы кое-что из приготовленного заранее панегирика своему предшественнику, но так как добросовестно выучил текст наизусть, цепкая память отказывалась от пропусков.

Генерал де Ла Моннери слушал с отсутствующим видом. Подобно солдатам, не думавшим при его появлении ни о чем, кроме парада, он тоже ощущал в голове какую-то пустоту. Он слышал, как перечисляются его заслуги.

– ...прирожденный воин... один из тех, кто украшает наши знамена немеркнущим золотом побед...

Пришел и его черед невольно поверить в легенду о добром генерале, друге своих солдат, о великом генерале, неутомимом и на поле брани, и в трудах мирного времени.

– ...генерал, который творил чудеса и может быть примером для молодых воинов, призванных служить родине... Воинское соединение с гордостью сохранит благодарную память о его деяниях...

Чтобы скрыть свою взволнованность, природный воин время от времени наклонял голову влево и дул на орденскую розетку.

Кто-то тронул его за руку: наступило время раздавать награды.

Выбрасывая негнущуюся ногу, он двинулся вперед. Его сопровождали широкозадый командир эскадрона и сержант, который нес коробку с медалями.

– Жилон, как я должен начать? – спросил он у командира драгун. – Напомните-ка мне поточнее...

– «От имени президента Республики и в силу данных мне полномочий...»

– Да-да, теперь вспомнил! А при вручении медалей? – снова спросил генерал.

– «От имени военного министра...»

– Да-да, отлично... Я в этом всегда путался.

Он шептал про себя: «От имени военного министра... этого олуха с его тремя приказами...» Он нашупал сквозь ткань мундира напечатанные на машинке листки.

– Барабанщики! Дробь!..

Фанфары звучали у него за спиной, впереди выстроились удостоенные награды, по правую руку от генерала стоял Жилон, читавший приказы о награждении, по левую – сержант, который передавал ему кресты, и офицеры, уже имевшие орден Почетного легиона: они салютовали саблями новым кавалерам этого ордена. И все они кружили вокруг генерала... как дьяконы вокруг прелата или верующие в ожидании причастия.

Мысли генерала витали далеко-далеко. Ему казалось, будто его голос раздается в пустынном мировом пространстве, где атмосфера необычайно разрежена.

– От имени президента Республики...

Удар плашмя саблей сначала по правому плечу, затем по левому. С трудом прокалывая металлической булавкой мундир капитана де Паду, генерал спросил:

– Я знавал некоего Паду, он командовал лотарингскими драгунами.

– Это мой дядя, господин генерал!

– Да? Ну, поздравляю вас!

Объятие. Барабанная дробь, звуки фанфар. В большом каре ружья опущены к ноге.

– От имени военного министра...

Перед генералом славное лицо вахмистра. За девятнадцать лет службы он ни разу не получил повышения. Один из тех, кто скоро закончит срок службы и станет, должно быть, таможенником. Глаза у старого служаки были в красных прожилках.

«Надеюсь, не заплачет», – подумал генерал.

Он пожал руку награжденному и сказал ему несколько приветливых слов.

Гусарский полковник снова оглушил всех раскатами своего голоса. Войска приготовились к торжественному маршу.

Сначала под звуки труб двинулись вперед егеря. Казалось, они скреплены между собой деревянной планкой, как стулья в соборах.

Затем, обдавая неподвижного, как статуя, генерала запахом человеческого и лошадиного пота и клубами пыли, прошли кавалерийские эскадроны; поскрипывала кожа белых ремней, звенели удила и шпоры, сверкали мушкеты. Наконец проскакал замыкающий, и пыль за ним улеглась.

Генерал в сопровождении своего спутника-«собаки» двинулся навстречу полковнику гусарского полка.

– Поздравляю вас с прекрасной выправкой солдат, полковник! – произнесла «собака».

– Солдаты вашего полка хорошо держат равнение. Поздравляю вас, – медленно произнес генерал де Ла Моннери.

Он направился к своему автомобилю. Сзади, со стороны конюшен, до него донесся крик: «По казармам!» – и громкие взрывы хохота участников всей этой головоломной игры.

9

Генерал снял мундир и сложил в специальную коробку ленту командора и другие ордена. Он остался в легкой сетчатой фуфайке и в коротких кальсонах, поверх которых был надет стягивавший живот корсет из плотного полотна с металлическими крючками. На ноге – розоватая полоса шрама. Прихрамывая, он прохаживался по комнате, заставленной упакованными вещами, и продолжал исходить злобой:

– Видите ли, мой дорогой, вся эта шатия политиканов – просто олухи. Раньше еще можно было утверждать: «Необходима война, чтобы они поняли, что к чему!» Но вот они получили войну! И все-таки ничего не поняли. Одно слово – олухи!

Эта тирада предназначалась для широкозатянутого командира драгун Жилон, который с грустью наблюдал за приготовлениями к отъезду. В углу денщик укладывал вещи в сундук.

– Не так, не так, Шарамон! – крикнул генерал. – Я тебе двадцать раз твердил: обувь – вниз! Остолоп ты этакий!.. А потом, я отлично понимаю, что произошло, – продолжал он. – Вы меня знаете, Жилон! Я всегда говорю правду в глаза, а это многим не по вкусу... Да-с, было время, когда аристократическая фамилия с двумя приставками, как говорят эти тупоголовые англичане, у которых нет ничего хорошего, кроме лошадей, кое-что значила. Теперь же эти приставки только вредят.

Он взвешивал и подробно разбирал все возможные причины своего увольнения из армии, за исключением одной, подлинной, – возраста.

– Как мне все это претит, генерал! – сказал Жилон.

То был человек лет сорока с цветущим, приветливым лицом. Белые полотняные гетры на пуговицах обтягивали его икры. Перстень-печатка с изображением стершегося герба чуть врезался в мякоть мизинца.

– Пожалуй, я выйду в отставку, – продолжал он. – С вами, генерал, было хорошо. Когда я служил под вашим командованием, мне это напоминало войну. А теперь кто знает, куда меня сунут... с кем я буду... Пятую нашивку надо ждать еще три-четыре года. Да и дадут ли ее вообще...

– А Крошар-то каков! Слышали? Ни слова о моей мадагаскарской кампании, ни единого звука! Штабная крыса! – проворчал генерал.

– Чем оставаться с таким горе-воежкой, предпочитаю тотчас же уложить багаж, – ответил командир драгун, теребя свои маленькие жесткие усики. – Уеду в Монпрели. Займусь именем, заведу лошадей для охоты, пожалуй, женюсь. Кстати, давно пора...

Так они перебрасывались словами, но каждый думал о собственных делах.

– Шарамон! – крикнул генерал. – Затяни мне шнурок.

– Ах да, генерал, местная пресса просит ваш портрет, – сказал майор Жилон.

– Пф-ф!.. Пресса, пресса! Вы ведь знаете, как я отношусь к журналистам!

Жилон молчал, ожидая, какое решение примет генерал. Наконец тот произнес:

– Шарамон! Подай мне портфель, вон тот... из черной кожи!

Он присел к столу, подул на фуфайку – на то место, где обычно красовались его ордена, – нацепил пенсне и закурил сигарету. Из прозрачного конверта он достал несколько фотографий, разложил их перед собой и начал внимательно рассматривать.

– Эта не годится, – сказал он. – Такое впечатление, будто у меня нос в песке. Не понимаю, как удастся этим типам извлекать из своих хитроумных ящичков такие рожи. Вот эта фотография как будто ничего... Нет, я, очевидно, пошевелил рукой. Впрочем, все равно, передайте им ее. Тут у меня более внушительный вид, я всегда лучше выхожу в профиль.

– Могу я просить вас, генерал, подарить мне одну фотографию? – спросил Жилон.

– Ну конечно, друг мой, с удовольствием. Выберите сами...

На своем изображении он начертал поперек брюк: «Моему верному боевому товарищу, командиру эскадрона Шарлю Жилону, в знак уважения и дружбы. Генерал де Ла Моннери. Июль 1921 года».

– Благодарю вас, генерал! – сказал обрадованный Жилон и вытянулся.

– Вот видите, – продолжал генерал, – как правильно я поступил, сохранив за собой парижскую квартиру. Хорош бы я был сейчас, когда меня уволил в отставку этот балбес министр! Куда бы я девался?

– Во всяком случае, генерал, знайте: двери Монпрели всегда открыты для вас!

– Спасибо, мой дорогой, спасибо. Конечно же, я непременно приеду навестить вас. Шарамон, помоги мне одеться!

Денщик взял брюки от штатского костюма и натянул штанину на негнущуюся ногу генерала.

– Уж так мне жаль, господин генерал, – произнес он глухим голосом, – что в последний раз помогаю вам одеваться.

Шарамон разговаривал очень редко, но уж если говорил, то чистую правду. У него была круглая темноволосая, а сейчас наголо остриженная голова.

Майор Жилон спросил:

– Шарамон, сколько лет ты в армии?

– Десять, господин майор, и все время в денщиках.

– В этом его призвание, – пояснил генерал, – как у других призвание быть камердинером.

Шарамон прошел всю войну, ему трижды объявляли благодарность в приказе, он награжден медалью за то, что вынес на себе офицера с поля боя, и он всегда хотел быть только денщиком.

Видимо, служба у меня – венец его карьеры. Вместе с тем он упрям как осел... Смотрите! Все-таки умудрился положить башмаки сверху! И еще злится!

– Если их положить вниз, брюки помнутся, – спокойно заметил денщик.

– Он готов кинуться в воду ради меня. Верно, Шарамон?

– Так точно, господин генерал.

– А ради майора кинулся бы в воду?

– Понятно, если бы служил денщиком у него.

– На, возьми! Выпьешь за мое здоровье, – сказал генерал, сунув ему в руку кредитку.

Отведя Жилон к окну, он сказал доверительно:

– Вот со всем этим, дорогой мой, и трудно расстаться, с такими парнями...

Он дотронулся до сабли, лежавшей плашмя на столе.

– ...и потом повесить на стену эту старую железку...

Казалось, он грезит. «Урбен подарил мне ее, когда я окончил Сен-Сир, – думал он. – Это было так давно. С ней я шел в атаку, убивал людей: ведь, по правде говоря, в этом истинная цель нашей профессии... убивать людей. А когда становишься стар, больше убивать не можешь...»

– Ножны, как и я, начинают изнашиваться, – проговорил он вслух.

– Но клинок еще хорош, генерал! – с улыбкой произнес Жилон.

Генерал усмотрел в этих словах игривую шутку.

– Пф-ф... Нет, уже совсем не то. Теперь надо, чтобы женщина была не слишком молода и не слишком стара.

– Вот что, генерал, – сказал Жилон, довольный тем, что разговор принял другой оборот, – ваш поезд отходит лишь в три часа. Давайте кутнем на прощание. Позвольте мне вас пригласить!

– Э нет, дружище! Пока еще я ваш командир. Разрешите уж мне пригласить вас на завтрак.

Жилон был много богаче генерала и поэтому не настаивал.

Денщик между тем разглаживал ладонью кредитку на крышке сундука.

– Что ты там делаешь, Шарамон? – спросил генерал. – Собираешься ее разменять?

– Нет, я думаю ее сохранить, господин генерал, – ответил денщик.

Генерал, склонив влево свое слегка тронутое морщинами лицо, сдул воображаемую пылинку.

– Вы правы, Жилон, надо хорошенько кутнуть. Отныне только это мне и остается, – сказал он.

10

По-настоящему чувство одиночества охватило генерала только тогда, когда он проснулся в своей квартире на авеню Боскэ. Он еще не успел подыскать себе прислугу. Привратница приготовила ему завтрак и раскрыла окна. Свет проник в запыленные унылые комнаты, где все поблекло за те несколько месяцев, пока они стояли пустыми. Генералу вдруг почудилось, будто он возвратился к себе на следующий день после собственной смерти.

Он нашел, что башмаки плохо вычищены, и принялся чистить их вторично. Попытался без посторонней помощи натянуть брюки, но только причинил себе сильную боль. Ему пришлось обратиться за помощью к привратнице. То была не слишком опрятная женщина лет сорока. Три года назад, сразу после перемирия, она бы засуетилась вокруг раненого героя и не посмела бы дотронуться до него, предварительно не вымыв рук и не причесавшись. Теперь же она презрительно и брезгливо смотрела на этого старика, которому нужно было помочь одеться. И даже заявила генералу, что долго его обслуживать не сможет.

Выбрасывая вперед ногу, он обошел квартиру, где отныне должен был проводить свою жизнь... Переносные печи «Саламандра», поставленные в каминах, мебель «под Людовика XIII» и африканские безделушки; в передней – расшитое серебром, но уже изъеденное молью марокканское седло; переплеты книг стали бурными от пыли, фотографии с автографами его бывших начальников – Галиени, Жоффра и других, менее известных генералов – пожелтели. Вчера еще он радовался тому, что сохранил эту квартиру и найдет сувениры на прежних местах. А теперь ему хотелось очутиться в гостинице, за границей – где угодно, только бы не здесь.

«Надо что-то предпринять, иначе я с ума сойду, – подумал он. – Не пройдет месяца, и пустишь себе пулю в лоб... Подумать только, после ранения я был так рад, что выкарабкался! Какой глупец! Если уж человеку повезло и он лежит при смерти...»

Он не последовал общему правилу, не создал себе семейного очага, у него не было ни жены, ни детей. «Я жил только для себя – и вот мне наказание. Нет, при чем тут наказание? Что я такое совершил, чем заслужил его?» За какие-нибудь четверть часа он мысленно перебрал все оставшиеся ему возможности: уйти в монастырь, «чтобы ни о чем больше не думать», окунуться в политику, выставить свою кандидатуру на выборах в сенат, затем с трибуны сказать «этим олухам» все, что он о них думает.

Но он знал, что это только фантазия, что прежде всего следует привести в порядок свой штатский гардероб, отремонтировать квартиру...

Он отправился завтракать в офицерский клуб. В это время года там бывали немногие, главным образом те, кто не знал, куда себя девать, то есть такие же офицеры в отставке, как и он, но только уволенные из армии на несколько лет раньше.

Они скучали в просторных залах с позолотой и в библиотеке, дремали после еды или, собравшись по двое, по трое, беседовали с видом заговорщиков, сидя в оконных нишах. Время от времени кто-нибудь поднимался и, волоча ноги, брел к столу за иллюстрированным журналом, затем возвращался на свое место. Внезапно в этом морге гремел зычный голос: кто-то требовал у официантов черного кофе. Но полумертвые не пробуждались.

И все же, когда вошел генерал де Ла Моннери, они подняли глаза, оторвавшись от газет, заложили подагрическими пальцами страницу книги, прервали заговорщические беседы.

Старик с эспаньолкой и орденской розеткой величиной с монету в сорок су, с желтыми глазами и трясущейся рукой подошел к генералу.

– Это вы, мой юный друг? – произнес он.

Единственно стоящей, по мнению старика, кампанией, которая оставила у него неизгладимые воспоминания, был поход в Италию.

– Я только что рассказывал друзьям, – и он указал на заговорщиков, – как однажды вечером в Сольферино Мак-Магон чуть было не подрался на дуэли с командиром третьего корпуса. Подумать только: в двух шагах от императора! После битвы у Мажента я имел честь служить адъютантом Мак-Магона.

– А, Ла Моннери! – воскликнул какой-то толстяк с прыщеватым лицом и подстриженными бобриком волосами.

– Мое почтение, полковник! – ответил генерал.

Толстяк положил ему огромную лапу на плечо. Разговаривая, он надувал щеки и после каждого слова переводил дыхание.

– Вот славно! – сказал он. – Не забыл-таки. Видите ли, господа... этот молодой человек оказывает всем нам честь... простите меня, генерал, что я так к вам обращаюсь... Так вот, я преподавал ему стратегию в военной школе! И он меня не забыл. Отлично... уф... отлично!.. Он по-прежнему называет меня полковником.

Мимо них прошел тощий человек с крашеными волосами; щелкнув каблуками и не сказав ни слова, он продолжал свой путь.

– Кто это? – спросил генерал де Ла Моннери.

– Да ведь это же Мазюри! – ответил толстяк. – Неужели не узнали?.. Один из ваших товарищей по школе, тоже мой бывший ученик... уф... У него была скверная история в Сенегале, – прибавил он, понизив голос, – я вам потом расскажу.

– Мазюри? Действительно... – пробормотал Ла Моннери. – Но как он изменился!

– Вот мы и встретились снова. Такова жизнь... Не сыграть ли нам в бридж, генерал?

Ла Моннери извинился и поспешил уйти. Нет, так закончить жизнь невозможно! Ему претило, когда давние начальники, отставшие от него на два чина, запросто называли его генералом, а старцы, вроде бывшего адъютанта Мак-Магона, – «моим юным другом». Эти пожелтевшие усы, восковые или лиловые щеки, голые черепа с темными пятнами, дрожащие колени... «Нет, нет, нет, – повторял он, – я еще не дошел до этого! Я еще молод, черт побери, у меня есть еще порох в пороховнице!»

Если бы не проклятая негнущаяся нога, он бы прошелся колесом по площади Сент-Огюстен или опустошил бы первое же попавшееся быстро, как он это сделал, когда был лейтенантом в Бискара. Он не замечал, что через каждые двадцать шагов останавливается и обдувает орденскую розетку.

Дома он разобрал почту, и она принесла ему некоторое успокоение. Ему предлагали войти в Почетный комитет бывших лауреатов ежегодных состязаний. Затем Ноэль Шудлер, поздравляя его с третьей звездой, писал о том, что на предприятии по производству фармацевтических препаратов не полностью укомплектован состав административного совета.

«Ну вот, есть все же люди, которые еще не считают, что я окончательно впал в детство», – подумал он.

Издатель компилятивного труда о войне 1914–1918 годов просил его о сотрудничестве при описании военных действий, в которых принимала участие его дивизия.

Неделю назад генерал отмахнулся бы от всех этих лауреатов, издателей, руководителей фармацевтических предприятий и потребовал бы, чтобы его оставили в покое. А сейчас он не спеша перечитывал письма, обдумывал, несколько раз взвешивал каждое предложение, потому что на это, по крайней мере, уходило время. «Посмотрим, посмотрим», – повторял он.

В эту минуту вошла госпожа Полан; безошибочный инстинкт подсказал ей, что уход в отставку – событие столь же прискорбное, как смерть. Она появлялась в доме только при печальных обстоятельствах, и все называли ее тогда «милая Полан».

Что касается генерала, то он разделял мнение Люсьена Моблана и считал ее старой ящерицей. Тем не менее он встретил гостью не без удовольствия.

– Вот я и не у дел, милая Полан, – сказал он.

На госпоже Полан была все та же черная шляпа, но летний зной заставил ее сменить кроличий воротник на жабо из крепдешина кремового цвета; от постоянной беготни по церквям с лица у нее никогда не сходил нездоровый румянец.

– Не говорите так, генерал! – воскликнула она. – Я убеждена: чего-чего, а дел у вас хватит. Через две недели вы уже не будете знать, за что раньше приняться.

– О, это уже началось, – сказал он с притворной усталостью и указал на три листка, лежавших на письменном столе. – Меня настойчиво приглашают в различные места. Попросят написать воспоминания о войне...

– Вот видите! Конечно же, человек, который видел столько, сколько вы, должен писать мемуары. Просто грешно, если все это забудется. И потом, в вашей семье у всех врожденное чувство стиля.

– Да-да, вы правы, я уже и сам подумывал о мемуарах, – сказал он.

Именно этого посетительница и ждала. Она объяснила, что у госпожи де Ла Моннери ей, собственно говоря, уже нечего делать, тем более что та сейчас на водах.

– Том посмертных стихотворений поэта, над которыми вместе с господином Лашом работала мадемуазель Изабелла, – никак не привыкну называть ее госпожой Меньерэ, – пожаловалась Полан, – составлен, перепечатан и передан издателю.

– Кстати, что там такое приключилось с Изабеллой? – спросил генерал.

Как член семьи, посвященный во все тайны, но умеющий их хранить, госпожа Полан шепотом пересказала историю, которая ненадолго заинтересовала генерала.

– Кажется, именно Лашом добился для меня третьей звезды на погонах, так что я не могу особенно на него сердиться, – сказал он. – Но как подумаешь, что такие шелкоперы управляют Францией...

Госпожа Полан по утрам была занята у отца де Гранвилажа, настоятеля монастыря доминиканцев, родственника господ Ла Моннери: он готовил к изданию сборник своих проповедей. Но с середины дня она свободна. В разговоре она трижды упомянула об этом.

– Что ж, это устроит нас обоих, – заметил генерал. – Вы будете приходить после двенадцати, разбирать почту, я смогу вам диктовать свои воспоминания...

– О деньгах между нами не может быть, конечно, и речи. Вы ведь знаете, для меня все, что касается Ла Моннери...

– Нет, нет, напротив, договоримся об этом сейчас же. Жизнь нелегка для всех, и я люблю определенность... Да, кстати, подыщите мне прислугу, умеющую все делать, – добавил он уже требовательным тоном. – Займитесь этим. Потом надо пригласить водопроводчика: в ванной что-то не в порядке.

Генерал почувствовал себя лучше: рядом находился кто-то, кому можно отдавать приказания. А госпожа Полан была в восторге от того, что кому-то оказалась необходимой.

Вдруг он спросил ее:

– Ну а ваш муж? Что с ним?

Выражение лица госпожи Полан сразу изменилось. Она горестно опустила голову.

– Ушел, – ответила она. – В четвертый раз. Сказал: «Иду в парикмахерскую» – и вот уже шесть месяцев не возвращается.

Она достала платок, вытерла уголки глаз и добавила:

– У каждого свой крест!

То был единственный раз, когда генерал как будто проявил интерес к личной жизни своей секретарши. Он всегда был глубочайшим эгоистом, а сейчас меньше, чем когда-либо, его занимали дела ближних. Когда в беседе затрагивались такие темы, он принимал отсутствующий вид либо начинал сдувать пыль с орденской розетки, так что собеседнику волей-неволей приходилось произнести:

– Я, верно, надоел вам своими историями!

Генерал отвечал «нет, нет», но глаза его были пусты. Он не слушал.

* * *

Все свое внимание он сосредоточил только на самом себе, думал только о своей особе, любил только себя, то есть поступал так, как обычно поступают стареющие люди.

Время тянулось теперь необычайно медленно. Генерал бывал в комитетах, членом которых состоял, работал с госпожой Полан. Его рассеянность во время заседаний снисходительно принимали за сосредоточенность.

Он каждый день задумывался над тем, что бы такое поручить госпоже Полан; быть может, именно поэтому она сделалась для него необходимой.

– Сегодня утром, – говорил он, – я перебирал в памяти мои воспоминания о сражении при Тананариве. Я вам сейчас их продиктую, Полан.

Когда секретарша ему надоедала, он посылал ее в Национальную библиотеку за справками, и затем их поневоле приходилось прочитывать. Иногда он оказывал ей особую милость и оставлял обедать. Это происходило в те вечера, когда ему было особенно тоскливо.

Служанка, которую подыскала Полан через монахинь Сен-Венсан-де-Поль, ему не нравилась.

Генерал написал своему бывшему денщику Шарамону, у которого в декабре истекал срок службы, и предложил старому солдату вновь поступить к нему. Он ощущал потребность в таком человеке, которому можно запросто говорить «ты» и с напускной, ворчливой благосклонностью называть его «дурьей башкой».

Итак, он наладил свою жизнь и мог медленно плыть к пока еще далекой смерти, не слишком задумываясь о ней.

Да еще как раз в это время простата начала причинять генералу страдания, что дало ему дополнительный и весьма важный повод заняться собой.

11

...особую благодарность приношу племяннице поэта госпоже Изабелле Меньерэ, оказавшей мне своим просвещенным содействием помощь в выполнении моей задачи.

Симон Лашом

Изабелла заложила пальцем страницу книги и горестно улыбнулась.

Свет осеннего дня проникал в кабинет. Симон сидел спиной к окну, и она плохо различала черты его лица.

Со времени отъезда в Швейцарию она впервые увиделась с Симоном. В конце сентября у нее произошел выкидыш; после выздоровления уже не было смысла дольше оставаться в Швейцарии, и она вместе с мужем возвратилась в Париж.

– Вы его, кажется, любите? – спросил Симон.

– Да, я очень привязана к Оливье и испытываю к нему большую нежность. К счастью, – прибавила она, – иначе это было бы ужасно. И вот я без ребенка, замужем за очень старым человеком, моя репутация все же несколько пострадала... ведь это замужество мало кого обмануло, не правда ли?.. Я лишена радостей любви и радостей материнства и не питаю большой надежды когда-либо их обрести... Тут и вы немного виноваты, Симон.

– Мы оба повинны, дорогая, – возразил он. – Мне кажется, вы тоже несете некоторую долю ответственности.

– Да-да, конечно. Я вовсе не сержусь на вас. У меня и в мыслях этого нет. Напротив, мне приятно вспомнить, – сказала она, положив на стол только что вышедший томик посмертных произведений Жана де Ла Моннери.

Она не узнавала Симона. За несколько месяцев он необычайно переменялся. Какой у него теперь важный, самоуверенный вид! Льстившие его самолюбию мелкие знаки внимания, с которыми он ежедневно сталкивался, почтительность, оказываемая ему во время второразрядных церемоний, где он представлял особу министра, предупредительность генералов, рукопожатия тучных сенаторов – все это наполняло Симона чувством удовлетворения. Но главное – он преуспевал по службе, и министр постоянно поручал ему самые сложные дела. Его ежеминутно беспокоили телефонные звонки, в кабинет к нему то и дело приносили пакеты. Его манеры и речь стали более утонченными. Он словно старался подчеркнуть свою изысканность.

– По правде говоря, прежде вы мне больше нравились, – чистосердечно призналась Изабелла.

Симон обиделся. Изабелла ему тоже показалась иной. Она пришла из другого мира, из страны теней, какой обычно представляется людям былая любовь. Возможность иметь ребенка,

тешившая его тщеславие, теперь не связывала больше Симона с ней. Это тоже исчезло, ушло в страну теней. А меж тем только весной... «Как быстро проходит жизнь», – подумал он. Его нисколько не взволновала встреча с Изабеллой, он испытывал лишь неловкость. А она, наоборот, была и смущена, и взволнована. Если бы он предложил ей встретиться завтра наедине, она согласилась бы почти без колебаний. Боясь признаться себе в этом, она хотела возобновить их прежние отношения.

– Оставайтесь хоть со мной таким, каким вы были раньше, – сказала она. – Человеку всегда нужно иметь рядом кого-нибудь, с кем он может быть самим собой.

– То же самое говорит моя жена, – ответил Симон.

– Благодарю вас, – сказала задетая в свою очередь Изабелла. – Ну что ж, быть может, она не так уж неправа.

– Вам кажется, будто я изменился, потому что... ваши чувства ко мне... изменились.

– А ваши чувства, Симон? Скорее уж они изменились... или разве...

– Я придерживаюсь условий, которые вы мне поставили, дорогая, – ответил он лицемерно.

«Какая-то новая женщина вошла в его жизнь, одно только служебное положение не могло до такой степени изменить его. Я просто дура», – думала Изабелла, чувствуя, что страдает. И спросила:

– Вы счастливы?

У него чуть было не вырвалось: «Очень!» Но из приличия он ответил:

– Разве такое понятие вообще существует?

– Несколько месяцев назад вы не говорили так, – прошептала она.

В эту минуту послышался звонок, напоминавший по звуку колокольчик церковного служки.

– Меня вызывает министр, – сказал Симон, торопливо вставая.

Во взгляде Изабеллы он прочитал презрение. Отличное положение, которым он так гордился, по существу было положением мальчика на побегушках. Бедняга Симон, а ведь она считала его поэтом! Ей стало стыдно за него; поспешность, с какой он встал, показалась ей унижительной.

Ему захотелось исправить дурное впечатление.

– Нас сильно беспокоит судьба правительства, – сказал он, протирая большими пальцами стекла очков. – Я был сегодня в Люксембургском дворце. Все только и говорят о кризисе, это какой-то психоз. Но так как и в новом составе кабинета патрон сохранит свой портфель... Увы, сейчас я должен вас покинуть!..

Но Симон лишь ухудшил впечатление: перед ней был лакей, уверенный, что удержится на своем месте.

Изабелла снова взяла томик стихов.

– Я уношу его. В некотором роде он – наше детище. «Посмертные произведения». Название вдвойне верное. Это все, что сохранилось из того, что мы делали сообща, – сказала она с непривычной для нее грустной иронией, которую, сама того не замечая, переняла у своего мужа Оливье.

Она подняла темные глаза на Симона.

– Увидимся ли мы еще? – спросила она, делая последнюю попытку.

– Ну конечно, мы будем часто видеться.

Стараясь быть вежливым, он легонько подтолкнул ее к двери.

12

Оливье стоял в халате перед зеркалом умывальника со щетками в руках и приглаживал свои седые волосы, разделенные посредине пробором. Он всегда ложился в постель раньше жены, чтобы освободить ванную, расположенную между двумя спальнями.

На особой вешалке, какими пользуются англичане, были аккуратно развешаны домашняя бархатная куртка гранатового цвета, рубашка и носки; к вешалке снизу был прикреплен маленький ящик для старых туфель, которые он носил дома; по утрам горничная все это убирала.

Сквозь полуотворенную дверь он услышал, как Изабелла положила колье на туалетный столик.

Она была у себя в комнате, и Оливье, набравшись смелости, решился наконец задать ей вопрос, который не шел у него из головы в течение всего вечера.

– Стало быть, вы его сегодня видели? – спросил он, немного повысив голос и стараясь, чтобы вопрос звучал как можно естественнее.

– Да, видела, – ответила Изабелла, сидевшая за туалетным столиком.

Наступило короткое молчание, затем Оливье сказал:

– Я думаю, вас это взволновало.

– О нет,нисколько, – ответила она. – Ведь свидание было, собственно, деловое... из-за книги... И потом, хоть у меня и нет оснований на него сердиться... но я вас уверяю...

Он услышал, как она пересекла комнату и, продолжая говорить, приблизилась к двери.

– Можете войти, я уже заканчиваю, – сказал он.

Она толкнула створку двери.

– ...нет, уверяю вас, Оливье, – продолжала она, – встреча не доставила мне никакого удовольствия. Ведь все уже в прошлом... И очень жаль, если у вас возникла хоть тень сомнения...

Машинально она стала раздеваться. И вновь перед ее мысленным взором возникла фигура Симона, легонько подталкивающего ее к дверям; она чувствовала его руку у себя на плече, и у нее защемило сердце.

– Как я могу вас в чем-либо подозревать? – сказал Оливье, продолжая приглаживать волосы и стараясь сохранить спокойствие. – У меня нет для этого ни права, ни основания... Скорее уж вы можете сердиться на меня. Я прекрасно понимаю, что наш брак утратил всякий смысл; я невольно порчу вам жизнь. Снова повторяю: постараюсь не слишком долго стоять у вас на пути... Но что же делать – как это ни печально, а я все же чувствую себя хорошо.

Он обернулся. Она стояла совершенно голая.

– О, простите! – воскликнул он, краснея.

И торопливо повернулся лицом к стене.

– Что вы, что вы, это я виновата, – невольно рассмеявшись, сказала Изабелла. – Я увлеклась разговором и не обратила внимания... И потом, говоря по правде, какое это имеет значение для наших отношений, Оливье?..

Она надела ночную рубашку.

– Я только одного хочу, – продолжала она, – чтобы вы никогда больше не повторяли тех глупостей, какие я только что слышала. Мне это больно...

Оливье с благодарностью посмотрел на нее.

– Вы хотите утешить меня... А может быть, я и в самом деле не очень вам в тягость? – спросил он.

Оливье был такой опрятный и холеный, от него приятно пахло туалетной водой и зубным эликсиром; взгляд у него был нежный, а лицом, что бы ни говорили, он все-таки походил на

Орлеанов. Изабелла уже так привыкла к нему, ее трогала постоянно проявляемая им предупредительность.

– Знаете, Оливье, я вас очень люблю! – призналась она. И быть может, оттого, что в тот день Изабелла испытала горькое разочарование, она подошла к мужу и поцеловала его в губы.

– Дорогая! Моя дорогая! – сказал он, побагровев от радостного смущения. – Вы, верно, поступаете так просто из жалости, но мне теперь не до всех этих тонкостей. Вы делаете мне большой подарок.

Изабелла положила голову на плечо Оливье. Ей так хотелось на кого-нибудь опереться. Муж нежно обнял ее. Он чувствовал, как она тесно прижалась к нему чересчур мягкой грудью; его руки скользнули вдоль ее тела, тела женщины, прожившей на свете вдвое меньше, чем он.

Внезапно он отодвинулся.

– О, простите, – сказал он снова. – Что вы подумаете обо мне?

Она как-то странно на него посмотрела.

– Видите ли, Оливье... – произнесла она.

– Конечно, это очень глупо... – пробормотал он в смятении, какого она никогда в нем не замечала. – Я... я и не подозревал, что со мной еще может произойти нечто подобное... Отзвуки прошлого...

Изабелла опустила голову; казалось, она размышляет.

Оливье вновь подошел к жене, нерешительно обнял за плечи и поцеловал ее волосы.

– Полноте, полноте! – прошептала она, тихонько отстраняя его.

– Да, вы правы, я смешон, – проговорил он. – Хорош, нечего сказать... В моем возрасте это по меньшей мере неприлично. Но и вы тоже виноваты! Раздеваться тут, в моем присутствии... Прошу вас, забудьте этот... случай. Пора спать. Спокойной ночи.

Но прежде чем он закрыл за собой дверь, она взяла его за руку и, опустив глаза, спросила:

– Вам это будет приятно, Оливье?

13

На следующее утро, побрившись, приняв ванну и сделав массаж, он явился завтракать в комнату Изабеллы в весьма игривом настроении.

– Я смущен, я сконфужен моим вчерашним поведением, – произнес он, не скрывая своей гордости.

– Зачем же смущаться, – сказала, смеясь, Изабелла. – Мне было очень хорошо.

Она тоже находилась в отличном настроении.

– О, это вы говорите из жалости, – запротестовал он. – Вы очень добры ко мне, Изабелла.

Она протянула ему совсем еще теплый гренок с маслом.

– Я бы даже сказала, что вы весьма недурно с этим справляетесь, – заявила она с бесстыдством непосредственных натур.

– Да! В свое время и я чего-то стоил... Порою мне даже делали комплименты... Надеюсь, – снова краснея, продолжал Оливье, – вы не станете ревновать меня к моим былым увлечениям?

– О нет, уверяю вас, Оливье, darling⁹, – заливаясь смехом, ответила она.

Изабелла впервые так назвала его и почувствовала, что нашла верное слово. Оливье был именно «darling».

– Бывает иногда, что старые деревья много лет не плодоносят, а потом вдруг, неизвестно почему, дают последний урожай.

– Прекрасно! Желаю, чтобы сбор урожая длился как можно дольше!

⁹ Милый (англ.).

– Спасибо, дорогая, спасибо! Что мы сегодня будем делать?

Ему хотелось чего-то нового, интересного. Если бы не стоял ноябрь, он предложил бы поехать в Булонский лес – кататься на лодке. В конце концов он решил повести жену в зоологический сад.

– Должен признаться, дорогая, я там не был почти шестьдесят лет. Оденьтесь потеплее.

Зоологический сад являл собою мрачное зрелище. В аллеях ни души. Гнили собранные в кучи опавшие листья. Только кедры да лиственницы сохраняли на ветвях черноватые хлопья, почему-то именуемые вечнозеленой хвоей.

Старые медведи, дряхлые львы, сидя на задних лапах, зябли в глубине рвов и словно вспоминали последнего гладиатора, съеденного ими; облезлые волки, обезьяны с сизыми ягодицами, ламы – все они глядели на одинокую чету печальными глазами зверей, которых гложет смерть.

Весь какой-то заскорузлый и сморщенный, слон поднял двухсотлетний хобот, как бы собираясь затрубить, но вместо этого лишь зевнул.

– Подумать только, ведь все это нас так забавляло, когда мы были детьми! – сказал Оливье. – Да, конец животных ничуть не веселее, чем конец людей.

– Не надо, Оливье, darling!

– Ах, простите, я сознаю свою неблагодарность. Судьба одарила меня сверх меры... и совершенно неожиданным образом: племянница вознаграждает меня за многолетнюю привязанность к ее тетке... Совсем как в романах этого славного Бурже.

– Замолчите, – потребовала Изабелла. – Я больше не хочу слышать о том, что вы старик.

– Прекрасно. Тогда мне придется лгать.

Она взяла его под руку и, чтобы развлечь, предложила заняться шуточной игрой – «отыскивать сходство». Особенно богатые возможности им предоставили птицы. Вцепившись в железные прутья клетки, давился от хрипа Урбен де Ла Моннери со взъерошенным белым хохолком на голове, принявший обличье редкостного какаду.

Марабу с голым черепом, с длинным клювом, уныло опущенным в белый жилет, и зелеными крыльями, прикрывающими лодыжки, поразительно походил на академика.

– А вот и я! – воскликнул Оливье, указывая на голенастую птицу, у которой перья на затылке были словно разделены пробором, а покрытые пухом бугорки напоминали отвислые щеки. – Помесь журавля и райской птицы! Только посмотрите на него. Чем не мой портрет?

К нему вернулось хорошее настроение, и он предложил пойти завтракать в «Кафе де Пари».

Вскоре они перестали так оживленно проводить время по утрам. Оливье начал подолгу нежиться в постели, и теперь Изабелла приходила к нему завтракать. Часто он просыпался с тяжелой, словно налитой свинцом головой, но никогда не жаловался.

Супружеская чета казалась безмятежно счастливой, и это немало забавляло друзей. Одну только госпожу де Ла Моннери раздражали новые отношения, установившиеся между ее старым другом и племянницей.

– Итак, голубок, вы довольны? – спрашивала она Оливье.

– Весьма доволен, тетушка, – отвечал Оливье, улыбаясь.

Однако вечера, когда он особенно долго причесывался в ванной, что служило своего рода условным сигналом, становились все реже и реже. Теперь за обедом он избегал взгляда Изабеллы. Нередко он слышал, как жена его ходит взад и вперед по комнате и даже вздыхает. Тогда он без особого желания оставался в ванной дольше, чем хотел, а порой она сама входила туда и, словно по рассеянности, начинала раздеваться в его присутствии. А потом в постели, погасив свет, он подолгу лежал рядом с нею недвижимо, словно дал обет воздержания. В конце концов он просил ее о помощи.

– Это утомит тебя, darling, – шептала она.

– Нет, нет, мне так приятно.

А еще через некоторое время она уже не ждала его просьб.

Однажды, одеваясь, Оливье почувствовал головокружение и рухнул на кровать; несколько минут он пролежал без сознания, почти бездыханный. Создалось впечатление, что он потерял равновесие, натягивая брюки. С этого дня распорядок их жизни на некоторое время изменился. На рассвете он появлялся в спальне жены, а потом возвращался к себе и спал до полудня; затем слонялся по комнатам, зевал уже с обеда и укладывался в постель сразу после чая.

Но постепенно жизнь вошла в прежнюю колею.

Итак, сбор последнего урожая проходил с большими трудностями. Угадывая приближение конца, Изабелла все меньше щадила мужа. Казалось, она решила: «Надо пользоваться, пока не поздно. Когда он уже совсем сдаст, как-нибудь обойдусь».

Впрочем, у Оливье был по-прежнему здоровый вид и хороший цвет лица; как и раньше, речь его отличалась приятным юмором. Изабелла была почти искренна, уверяя себя, что новый образ жизни не вредит организму Оливье. А он между тем с нетерпением ждал слишком коротких, по его мнению, периодов, когда она бывала нездорова. Только в такие дни он отдыхал.

Внезапно в доме появилась госпожа Полан, которую Изабелла уже давно не видела. Старуха пришла узнать, как поживают Изабелла и господин Меньерэ.

– Он себя великолепно чувствует, еще никогда не был таким бодрым, – ответила Изабелла.

– Неужели? Я очень рада.

У госпожи Полан был удивленный, почти разочарованный вид. Так как стояла зима, она снова надела кроличью горжетку.

– Ну что ж, дорогая мадемуазель Изабелла... Ах, извините, я хотела сказать – госпожа Меньерэ, никак не привыкну... Выходит, вам больше повезло, чем мне, – сказала она. – А мой, вы знаете...

– Что случилось, Полан?

– Все еще не вернулся. Но мне известно, где он. И я не решаюсь просить развода не только из религиозных соображений, но еще и потому, что хорошо его знаю! Сейчас он пленник плоти. Но если я потребую развода, он способен покончить с собой! Ведь в сущности он меня любит...

Она приложила к уголкам глаз, а потом к кончику носа скомканный платочек.

– Бедняжка Полан! – сказала Изабелла.

– К счастью, я помногу занята у генерала, и это меня отвлекает. Я делаю для него все, что в моих силах. Он постоянно твердит: «Полан – мой начальник штаба!» Мы с ним отлично ладим. Его мемуары сильно продвинулись, это очень увлекательно!

Гостья удалилась, а Изабелла так и не поняла, зачем Полан приходила. Но оказалось, она появилась всего лишь на несколько часов раньше...

Среди ночи телефонный звонок разбудил профессора Лартуа, из трубки доносился голос обезумевшей Изабеллы.

– Доктор, приходите сейчас же! Оливье... мой муж... Умоляю, сейчас же... – кричала она.

В квартире все было перевернуто вверх дном; Оливье Меньерэ с выкатившимися глазами лежал, уткнувшись лицом в окровавленную подушку. Струйки еще не свернувшейся крови текли у него из носа и изо рта. Лартуа оставалось только констатировать смерть.

Изабелла со следами крови на волосах, на шее и на воротах ночной сорочки, забившись в кресло, тряслась в нервном припадке и вопила:

– Это ужасно! Ужасно! Нет, нет!.. Он был рядом, возле меня! И вдруг эта кровь! Нет!.. Он сжимал меня с такой силой, это просто ужасно! Он душил меня! Я не могла освободиться! Мне пришлось позвать прислугу! Ужасно!

– Довольно, успокойтесь, милочка, – жестко сказал Лартуа.

– Не может быть! – выкрикивала она. – С такой силой!.. Ужасно!

Лартуа заставил ее встать, отвел в ванную и губкой сам смыл с нее кровь.

– Недурное занятие! – пробормотал он.

– Доктор, скажите, это моя вина? Моя? О, не может быть!..

– Ваша вина... не ваша вина... Прежде всего это его вина, – ответил Лартуа. – В сущности, не такая уж плохая смерть. Спрашиваю себя, не хотел ли и я бы так умереть... Холодная вода вас немного освежила, не правда ли? Где у вас аптечка?

Она сделала неопределенный жест.

– Где у вас аптечка? – повторил он, обращаясь к горничной, которая испуганно ходила за ним по пятам.

Та открыла маленький белый шкафчик, висевший на стене.

Лартуа стал перебирать склянки; он обнаружил коробку без этикетки с маленькими беловатыми крупинками. Лартуа раздавил одну из них пальцами и, поставив коробку на место, сказал:

– Да, оказывается, это его вина. Как глупо принимать такую пакость!

Потом он взял трубочку со снотворным и заставил Изабеллу проглотить две таблетки; убедившись, что в аптечке больше нет ядовитых лекарств, он из предосторожности положил трубочку к себе в карман.

Изабелла, заливаясь слезами, нервно вздрагивала.

– Что мне делать? Что со мной будет? – стонала она. – Это ужасно!

– Прежде всего ложитесь спать, – сказал Лартуа. – Пусть вам дадут горячего чаю, а горничная посидит возле вас. Завтра утром я снова заеду.

– А он? А он? Бедный darling! Что нам делать? – рыдала Изабелла.

И вдруг, повернувшись к горничной, приказала:

– Пошлите за госпожой Полан. Она займется всем.

Глава IV. Семья Шудлер

1

Жан-Ноэль внимательно рассматривал в зеркале свое худенькое тельце с выпяченным животиком. Это было утром в день его рождения.

– Обманули! – закричал он. – Обманули! – И затопал ногами.

Целую неделю все твердили, что скоро ему исполнится шесть лет и он станет взрослым, а поэтому надо быть умником, нельзя высовывать язык и гримасничать, когда становишься взрослым, пора наконец научиться вести себя как grown up...¹⁰

– What's the matter with you?¹¹ – спросила мисс Мэйбл, прибежавшая на шум.

– А я вовсе не взрослый! Я опять маленький. Меня обманули!

– Say it in English!¹²

– Нет! Не буду я говорить по-английски. Не хочу! Я опять маленький! I am not a grown up!¹³ Мари-Анж!..

Слезы отчаяния текли по его щекам. Он и в самом деле надеялся проснуться таким же большим, как отец, и вот день начался с катастрофы.

Жан! Ноэль хотел тотчас же, гольшом, бежать к сестре и призвать ее в свидетели. Мисс Мэйбл с трудом уговорила его сперва умыться и одеться. Он исцарапал гувернантку, дернул ее за волосы. Она пыталась объяснить, что даже его сестра тоже еще маленькая:

– ...And you see, she's older than you!¹⁴

– Да, но она женщина, – возразил Жан-Ноэль.

– Now. It's a big surprise for you this morning... Your grandfather!¹⁵

– Which one?¹⁶ – спросил Жан-Ноэль.

Он никогда не знал, о ком идет речь: о старом Зигфриде или о великане Ноэле.

– Your greatgrandfather!¹⁷, – уточнила мисс Мэйбл.

Без десяти девять Жан-Ноэля, одетого в нарядный бархатный костюмчик с белым воротником, привели к дверям спальни его прадеда. Появился барон Зигфрид. Ему было уже девяносто четыре года. Он совсем одряхлел, ходил, тяжело опираясь на трость и выставив вперед морщинистое землистое лицо с длинными изжелта-белыми бакенбардами, огромным носом и вывороченными веками; он напоминал теперь и древнюю химеру, и загадочного сфинкса.

– Стало быть, ты теперь уже мужчина, – сказал он, проводя рукой со вздувшимися венами по розовой щечке ребенка.

Через каждые три слова он хрипло и шумно дышал.

Жан-Ноэль посмотрел на него подозрительно, но, так как ему очень хотелось иметь заводной поезд, покорно ответил:

– Да, дедушка.

Он понял: лучше не доказывать взрослым, что они солгали.

¹⁰ Взрослый (англ.).

¹¹ Что тут происходит? (англ.)

¹² Скажи это по-английски (англ.).

¹³ Я не стал взрослым (англ.).

¹⁴ ...И ведь она старше (англ.).

¹⁵ Да, сегодня утром тебя ждет большой сюрприз... Твой дедушка (англ.).

¹⁶ Который? (англ.)

¹⁷ Прадедушка (англ.).

– Ну, раз так, я... пф-ф... я научу тебя делать добро... Идем со мной.

Они проследовали по коридорам огромного дома, медленно спустились по широкой каменной лестнице, устланной темно-красным ковром. Ребенок почтительно шел рядом со сгорбленным стариком, стараясь шагать с ним в ногу, и спрашивал себя, в какой комнате спрятан поезд. Слова «делать добро» привели его в замешательство.

В прихожей, внушительными размерами напоминавшей вестибюль музея, лакей набросил на плечи барона Зигфрида суконную накидку.

– Что это? – поинтересовался старик, увидев в высокое окно, как по двору проносят чемоданы. – Кто-нибудь собирается уезжать?

– Господин барон, вы, верно, запомнили, – ответил лакей. – Барон Ноэль едет в Америку.

– А, да-да, – протянул старик.

В сопровождении Жан-Ноэля он двинулся дальше и добрался до швейцарской.

– Ну как, Валентен, все готово? – спросил он.

– Готово, господин барон, – ответил швейцар.

– Много их?

– Да, как всегда, господин барон.

Швейцар Валентен был краснолицый толстяк с оттопыренными ушами, одетый в ливрею бутылочного цвета. Жан-Ноэль удивился, увидев у него в руках белую плетеную корзину, наполненную ломтями хлеба.

– Тогда открывайте! – приказал старик.

На авеню Мессины вдоль высокой ограды двора Шудлеров по тротуару выстроилась очередь нищих. Когда парадная дверь медленно отворилась, вереница ожидавших качнулась, сдвинулась плотнее, и все эти просители, показывая свои лохмотья, грязь и язвы, переступая мелкими шажками, медленно двинулись вперед. Их было человек пятьдесят; здесь собралась гольтыба со всего квартала, хотя считалось, что неимущих в нем совсем нет. В серой мгле туманного февральского утра Жан-Ноэлю казалось, что у подъезда ожидает огромная толпа. Мимо старого сфинкса с вывороченными веками потянулась однообразная, унылая процессия несчастных.

Когда нищий приближался, барон Зигфрид вытаскивал из кармана пиджака монету в сорок су, брал у швейцара ломоть хлеба и, прижимая пальцем монету к мякишу, опускал все это в подставленные грязные ладони.

Нищие говорили: «Спасибо» или «Спасибо, господин барон», но некоторые проходили молча. Давно не мытые пальцы прикасались к рваному козырьку, к отсыревшей фетровой шляпе или к покрытому лишаями лбу, и движение это отдаленно напоминало военное приветствие.

– Видишь ли... – объяснял старик Жан-Ноэлю. – Всегда должно самолично раздавать милостыню, чтобы... пф-ф... не обидеть тех, кому подаешь.

Гноящиеся, больные, выцветшие, налитые кровью, опухшие глаза с любопытством рассматривали ребенка. Мальчик был потрясен уродством нищих, его тошнило от зловония, ему страшно было от их пристальных взглядов; он ухватился за накидку старика и, насупившись, прижался к нему.

Старый барон не спеша вглядывался в каждое лицо и иногда достаивал коротким приветствием самых давних завсегдатаев, которые на протяжении многих лет доставляли ему это утреннее развлечение, принося к воротам его богатства все несчастья, какие только могут выпасть на долю человека и изуродовать его. Здесь было все: наследственные болезни, пагубные, неизгладимые следы любви и распутной молодости, всяческие пороки, физическое уродство, лень и просто роковая неудачливость – иначе это и не назовешь; барон любил смотреть

на людское отребье, которое время медленно несло к всеобщей сточной канаве смерти, – это зрелище помогало ему сохранять чувство собственной значительности.

– Тебе повезло, – сказал он ребенку. – По-моему, нынче утром, что бы там ни говорил Валентен, собралось много народу.

Жан-Ноэль еще сильнее вцепился в его накидку.

– Дедушка, посмотри какой у нее нос!.. – пробормотал он.

Подошла старуха в черной шелковой юбке; волосы ее напоминали свалывшуюся паклю, а ноздри были разъедены настолько, что виднелась зеленоватая слизистая оболочка; это был нос мертвеца, вырытого из могилы.

– Знаешь, она была в свое время очень красива, – сказал Зигфрид. – Она продавала цветы.

Заметив, что старуха с изъеденным носом наклонилась к Жан-Ноэлю и широко улыбнулась мальчику, он горделиво пояснил:

– Это мой правнук. Я учу его творить добро... Послушай, Жан-Ноэль, подай ей милостыню сам.

И он вложил хлеб и монету в руки ребенка. Жан-Ноэль уже понял, что, подавая милостыню, нужно улыбаться. Потом он поспешно вытер ладони о свои бархатные штанишки.

– Какой хорошенький! – прошамкала старуха. – И какой добрый! Ты наш благодетель, барон, ты наш благодетель. Да благословит тебя Господь!

Нищенка явно была любимицей старого барона – он дал ей еще и талон благотворительного общества, предоставлявший возможность выпить чашку шоколада на другом конце Парижа.

– А что твоя дочь? Есть от нее вести? – спросил старый барон.

– На панели шляется, все на панели шляется. Горе мое горькое, – ответила старуха, удаляясь.

Ее место заняло маленькое существо на кривых ножках, с крошечным детским личиком.

– Грешно смеяться, Жан-Ноэль, – сказал прадед. – Это карлица.

Но Жан-Ноэль и не думал смеяться. Он оглянулся, чтобы посмотреть, не пришла ли за ним мисс Мэйбл.

Старому барону казалось, что он изрек свое суждение вполголоса, но на самом деле он говорил так громко, что карлица услышала его слова и, получив милостыню, не поблагодарила.

Затем приблизился мужчина лет тридцати пяти, худой, с лихорадочным блеском в глазах; его протянутая рука дрожала.

– Нет, тебе не дам, – сердито сказал барон. – Ты молод, можешь работать. В твои годы... пф-ф... нечего побираться.

И, наклонившись к Жан-Ноэлю, он добавил:

– Нужно подавать милостыню только старикам.

Жан-Ноэлю хотелось попросить, чтобы худому человеку все же подали милостыню, но страх мешал ему говорить. Худой человек плюнул на тротуар и, отходя, сказал:

– Старый мерзавец!

Ни швейцар Валентен, застывший с корзинкой в руках, ни нищие, ни Жан-Ноэль, ни сам барон – никто и виду не подал, что услышал эти слова.

Подошел странный субъект в облезлом парике, криво надетом на дряблый затылок; держа в руке шляпу и сопровождая слова театральным жестом, он произнес:

– Господин барон, еще одним днем больше я имею честь быть вашим покорным слугой.

Каждое утро он по-новому изъяснял свою благодарность барону и, несомненно, весь день придумывал для этого замысловатые выражения.

Замыкая очередь, шла чета в лохмотьях. Мужчина был слеп, он плелся, подняв лицо к небу. Женщина с кошелкой в руке едва волочила обутые в стоптанные туфли голые ноги со вздувшимися венами. Они спорили.

– Непременно скажи ему спасибо. Слышишь? Я приказываю, – настаивал мужчина.

– Нет, не скажу, – отвечала женщина. – Раз они это делают – значит, могут. Черт бы их всех побрал!

Барон Зигфрид подал ей два куска хлеба и четыре франка, но она не произнесла ни слова благодарности. Тогда мужчина, по-прежнему глядя невидящими глазами на серые облака, громко сказал:

– Спасибо, сударь! Спасибо от нас обоих.

Остальные нищие уже разбрелись по авеню Мессины; одни медленно шли, жуя на ходу хлеб, другие исчезли в соседних улицах в поисках неведомой удачи или хоть какой-нибудь возможности забыться.

– Сколько их было сегодня, Валентен? – спросил барон Зигфрид.

– Пятьдесят семь, господин барон, – ответил швейцар и запер двери.

Старик и ребенок вернулись в вестибюль, поднялись по лестнице. Жан-Ноэль был задумчив; Зигфрид, хрипло дыша, с трудом взбирался со ступеньки на ступеньку. На полпути они столкнулись со старым камердинером Жереми: он шел вниз с чемоданом.

– Кто-нибудь уезжает? – осведомился старик.

– Господин барон, вы запомнили, – ответил слуга. – Барон Ноэль уезжает...

– Ах да, да, верно... пф-ф... В Америку...

Пока шли по коридору, Жан-Ноэль все думал и вспоминал. Он снова видел женщину с провалившимся носом, мужчину в парике, слепого с лицом, обращенным к небу; он восстанавливал в памяти всю эту ужасную процессию, старался продлить владевшее им чувство отвращения, оживить его.

Вдруг он дернул старого барона за полу пиджака.

– Дедушка, – спросил он, – а завтра мы опять пойдем делать людям добро?

В то утро в душе Жан-Ноэля впервые зародилось и сразу же окрепло стремление к патологическому, тяга к зрелищу распада и к поступкам, враждебным здоровой природе человека.

2

День рождения Жан-Ноэля был для него отмечен еще одним событием: его впервые допустили в кабинет деда, и произошло это потому, что барон Ноэль отпрашивался в Новый Свет.

Новый Свет... Мальчик услышал эти слова, когда вошел в комнату, они поразили его слух, понравились своей звучностью, но тут же переплелись с другим выражением – «тот свет», которое он услышал в прошлом году.

Барон Зигфрид сидел в бархатном кресле без спинки, похожем на те, в каких восседали сенаторы Древнего Рима; он старался как можно реже садиться в обыкновенные кресла, с которых ему было трудно подняться без посторонней помощи.

Уезжавший в Америку барон Ноэль стоял, прислонившись к массивному письменному столу в стиле Людовика XV.

Молодой барон Франсуа, начинавший уже полнеть, хотя ему только недавно минуло тридцать, подхватил сына на руки и сказал:

– Здравствуй, милый, поздравляю тебя!.. О, да какой ты тяжелый!

И ножки мальчика снова коснулись ковра.

– Да, в самом деле, – сказал барон Ноэль, – с нынешнего дня он уже маленький мужчина. Шесть лет – не шутка, черт побери! Что тебе привезти из Нового Света?

Ребенок всегда пугался, когда этот огромный старик в темном пиджаке, с виду тяжелом, как панцирь, склонялся над ним; он пугался и остроконечной бородки деда, и цепкого, мрачного взгляда, скользившего из-под набрякших век.

– Не знаю, дедушка, – ответил он. – Что хотите.

Великан выпрямился, обвел широким жестом комнату, и Жан-Ноэль услышал, как где-то высоко, почти под потолком, прогремел голос:

– Четыре поколения Шудлеров! Прекрасно! Великолепно...

Барон Франсуа угадал мысль отца: «Быть может, в последний раз мы собрались все вместе», – и глаза его невольно обратились к деду.

С этой минуты Жан-Ноэлем больше не занимались, и он мог спокойно рассматривать кабинет. Это была большая комната, обтянутая темно-зеленой кожей; двойная дверь с толстой простеганной обивкой не пропускала звуков. У стен стояли несколько высоких шкафов красного и лимонного дерева. Мебель была тяжелая, дорогая, но разнотильная. Украшением тут служили два портрета; на одном был изображен отец Зигфрида, первый барон Шудлер, в костюме придворного эпохи Фердинанда II: основатель дома Шудлеров был банкиром Меттёрниха и благодаря ему получил дворянство; на другом полотне, кисти Шарля Дюрана, был запечатлен сам Зигфрид в дни его молодости, одетый в простой черный сюртук.

Со смертью двух старших братьев Зигфрида, не оставивших потомства, австрийская ветвь Шудлеров угасла. Сам Зигфрид отправился сколачивать состояние во Францию, и, хотя он принял подданство этой страны, баронский титул был закреплен за ним австрийским императором. Зигфрид, впрочем, не раз выступал посредником при тайных сделках между Наполеоном III и Веной.

Шудлеры имели много предприятий в Париже. Был у них старый банк на улице Пти-Шан, была газета, основанная Ноэлем, они участвовали в различных акционерных обществах. Но именно здесь, в этом доме, построенном еще до 1870 года, был храм их могущества, средоточие их богатства и силы. И если Шудлеры собирались в этом кабинете, обтянутом зеленой кожей, пусть тогда кушанья остывали на обеденном столе, пусть посетители теряли терпение, – ни один человек не осмеливался их потревожить.

Жан-Ноэль провел рукой по дверце несгораемого шкафа, врезанного в стену: цвет его почти сливался с цветом кожаных обоев. Как было не пощупать, не исследовать незнакомые предметы? Мальчик нажал одну из кнопок, она чуть сдвинулась и тихо щелкнула. Жан-Ноэль отдернул руку и обернулся. Щеки его пылали, сердце колотилось, он чувствовал себя преступником. К счастью, никто ничего не услышал. Говорил прадед.

– А кто будет заниматься вместе со мной делами в твоё отсутствие? – спросил он сына.

– Всем будет вестись Франсуа, – ответил Ноэль Шудлер. – Он отлично справится.

– Как?.. Ты полагаешь, он достаточно серьезен, этот мальчик? – удивился старик. – Он пользуется авторитетом? Он в курсе дел?

– Да, отец, будь спокоен. К тому же Франсуа ничего не станет решать, не поговорив с тобой.

– Конечно, – подтвердил Франсуа.

Уже почти десять лет старый барон Зигфрид практически не принимал участия в руководстве многочисленными делами дома Шудлеров. Всем заправлял Ноэль. Однако старик номинально оставался хозяином. Его роль сводилась к тому, чтобы время от времени подписывать доверенности; но делал он это так старательно, требовал столько разъяснений, что по-прежнему чувствовал себя хозяином.

Почтительное потомство, не забывавшее, что оно всем обязано главе рода, старалось поддерживать в нем приятную иллюзию; не будь этого, он бы, вероятно, сразу умер. При нынешних же обстоятельствах надеялись, что он доживет до ста лет. Он уже перешагнул за пределы

того возраста, когда старики становятся обузой. Его необычное долголетие сделалось предметом восхищения, чем-то вроде семейной гордости и своего рода богатством.

Время от времени у него появлялись проблески здравого смысла, родственники превозносили его за это, желая создать впечатление, что в иссохшем теле этого идола с красными веками еще не погас огонь. Наконец, у барона Зигфрида сохранились воспоминания, давние и уже по одному этому необычайные. Бывают чудо-дети, в семь лет скверно играющие Шумана, а он был своего рода чудо-стариком, который не помнил событий, происшедших неделю назад, но зато по просьбе слушателей мог невнятно бормотать о том, как он встретил однажды Талейрана.

Ноэль Шудлер смотрел на него с волнением.

«Быть может, я его больше вообще не увижу, – думал он. – Нет, не следовало мне затевать эту поездку. Если он умрет в мое отсутствие, никогда себе этого не прошу. Или, чего доброго, я и сам назад не вернусь». И он машинально приложил руку к левой стороне груди.

Этот могучий и всевластный великан страдал нервическою трусостью, которую скрывал, называя свою болезнь грудной жабой; он постоянно испытывал тревогу и беспокойство, а подчас и тайный страх. Когда во время войны над Парижем появлялся самолет, у Ноэля от страха подкашивались ноги. В шестьдесят шесть лет он вздрагивал при виде крови; сидя в машине, он судорожно впивался пальцами в сиденье; почти каждую ночь спал при свете. В конце концов он убедил себя в том, что у него больное сердце. Только при виде отца, который, прожив почти столетие, все еще твердо стоял на ногах, он несколько успокаивался. Именно поэтому Ноэль питал особую нежность к старику и так настойчиво заставлял домашних окружать его заботой.

Но в тот день, когда был уложен последний чемодан и сделаны все необходимые распоряжения в связи с предстоящим двухмесячным отсутствием банкира, богатое воображение, которое так помогало Ноэлю Шудлеру вершить дела и устрашать противников, сейчас рисовало ему то картину кораблекрушения вроде гибели «Титаника», то иное мрачное зрелище: его собственное тело, зашитое в белую простыню, выбрасывают за борт.

– Сейчас в океане еще нет айсбергов, не правда ли? – вдруг спросил он вполголоса.

Потом, немного помолчав, он положил руку на плечо Франсуа и произнес:

– Если хочешь знать, не мне, а тебе следовало бы поехать, это было бы вполне закономерно. Америка – страна молодая.

– Нет, отец, путешествие окажется для тебя полезным, вот увидишь. Уже несколько лет ты никуда не ездил...

– С моим сердцем пускаться в далекие странствия не годится.

Жан-Ноэль между тем все еще сновал по комнате. Не сломал ли он чего-нибудь, нажав эту таинственную кнопку? Ведь там что-то треснуло, как будто лопнула пружина у заводной игрушки.

– Одно только хорошо во всем этом деле, – продолжал Ноэль. – И в редакции, и в банке понемногу привыкнут к тому, что распоряжаешься ты. Но твой дед прав: нужна железная хватка! Раз уж тебе приходилось на войне командовать людьми и рисковать своей жизнью в течение четырех лет, пусть это, по крайней мере, принесет пользу.

По существу, то были ничего не значащие фразы, говорившиеся лишь для того, чтобы заполнить время до отъезда на вокзал. Но в те минуты, когда Ноэлю Шудлеру хотелось подбодрить себя, он любил вспоминать военные заслуги Франсуа, чье имя трижды упоминалось в приказе. Храбрость сына, казалось, была одновременно залогом мужества отца. Она доказывала, что Шудлеры «всегда выходили с честью из трудных положений».

– Да, кстати, я вспомнил, что награждение тебя орденом Почетного легиона все еще висит в воздухе, – добавил он. – Просто невероятно! Потороплю Руссо, когда вернусь... Пора идти! Женщины, верно, уже ждут нас.

С каждой минутой в его широкой груди все сильнее ныло сердце от глухой, гнетущей тоски. Он наклонился к креслу и потерся черной бородой о белые бакенбарды старца.

– До свидания, сынок, – сказал Зигфрид. – Береги себя. Счастливцев, завидую тебе! Я бы охотно поехал с тобой.

В тот самый момент, когда великан уже распахнул дверь, Жан-Ноэль, набравшись храбрости, завертелся у него под ногами и закричал:

– Дедушка, я знаю, чего мне хочется! Привези мне из того света заводной поезд!

3

Когда правительство пало, все приближенные Анатоля Руссо стали добиваться занесения в «завещание» министра: одни выпрашивали место супрефекта, другие домогались ордена; некий военный претендовал на дипломатический пост, а штатский – на должность хранителя Военного музея. Считалось, что последние дни посвящаются подготовке дел к сдаче, а в действительности каждый стремился устроить собственные делишки. Руссо, желая сохранить приверженцев, подписал накануне передачи своих полномочий целый ворох приказов о новых назначениях.

Симон Лашом толком не знал, что он теперь будет делать, еще не мог точно определить свои намерения, но твердо знал, чего он не хочет: ему совсем не улыбалась перспектива возвратиться к преподавательской деятельности. Нет, и подумать было тошно, что он опять очутится в лице Людовика Великого. Его не соблазняла даже кафедра, которую он мог бы получить в каком-нибудь провинциальном университете благодаря своей диссертации и связям. Десять месяцев, проведенные им в министерстве без всякой пользы для страны и для него самого, привили ему вкус к политической деятельности и породили мечты о власти. Отныне он был навсегда потерян для благородной профессии наставника юношества. Анатоля Руссо вразумлял его.

– Такой человек, как вы, способен на большее, чем вдалбливать малышам склонения и спряжения, – говорил он. – Уходите пока, милый мой, в резерв. Мы скоро вернемся. И хотят они этого или нет, но уж на этот раз я, разумеется, стану премьер-министром. Да-да. Это будет *мой* кабинет.

По-прежнему считалось, что Симон откомандирован в министерство для какой-то работы по истории, и по-прежнему он получал жалованье. В период междуцарствия он занялся журналистикой.

Он стал сотрудничать в «Эко дю матен». В отсутствие Ноэля Шудлера Симон сблизился с его сыном. Молодой Шудлер был полон самых широких планов и изложил их Симону.

– Я хотел бы вымести всю пыль из этого старого дома, – заявил ему Франсуа Шудлер при третьей встрече, – омолодить его, максимально использовать все то, что дает нам эпоха. Мы с вами почти ровесники, и вы должны меня понять. Наше время позволяет прессе молниеносно передавать новости. Газета в наши дни должна прямо и быстро сообщаться со всеми столицами мира, знать, что происходит повсюду. Нынешней публике нужна документальная достоверность, точная, сжатая и исчерпывающая информация.

Широким жестом он погасил спичку и метко швырнул ее в пепельницу. В нем чувствовалась большая убежденность, вера в себя и молодой энтузиазм. «Что ни говори, – думал Симон, – а родиться богатым – это значит получить великолепный трамплин! Сразу выгадываешь лет десять – самые лучшие годы».

– Кроме того, информация должна задевать читателя за живое; пусть он почувствует, что происходящее касается и его лично, – продолжал Франсуа Шудлер. – Сейчас в нашей газете, по-моему, слишком много воды, чистойшей беллетристики. Этим читателя не привлечешь. Папаша Мюллер, наш главный редактор, славный старик, но он человек другой эпохи. По воз-

вращении отца надо будет все изменить. Я подумываю также о создании еженедельного журнала. Но такого, чтобы он произвел переворот в периодической печати... А пока, дружище, несите все, что у вас есть интересного. Скажем, можно провести через газету опрос: чего хочет публика в двадцать втором году, чего она ждет, как ее информируют... Подумайте об этом! Такой материал поможет осуществить наши планы.

Симон, еще год назад и не мечтавший ни о чем, кроме литературного сотрудничества, одобрял теперь эти проекты и видел, что перед ним открывается еще один путь к успеху – на этот раз в области газетной информации.

«Общественное мнение, – говорил он себе, – одна из ступеней к приобретению влияния, и было бы неплохо, если бы я в ожидании того дня, когда *мы* вернемся к власти, сделал себе имя в журналистике. Отличная тетива для моего лука».

Прочно связав свою судьбу с судьбой министра, он позаимствовал у него манеру говорить «мы» и охотно повторял это словечко.

В один из четвергов Симон по просьбе Лартуа отправился в Академию. «Бедняга Домьер» сдержал наконец слово и умер, так ни разу и не побывав там. Лартуа тотчас же выставил свою кандидатуру на освободившееся место, которого домогался еще в прошлом году. Наступил день выборов.

– Мне неловко обременять вас, дорогой Симон, этим малоприятным поручением, – сказал Лартуа. – Вы расплачиваетесь одновременно и за свою молодость, и за нашу дружбу. Но не бойтесь: вас не ждет печальная участь визирей, которым падишахи отрубали голову, когда те приносили дурную весть. На этот раз я выдвигаю свою кандидатуру лишь из чувства собственного достоинства, ибо считаю, что освободившееся кресло должно перейти ко мне по праву. Если эти господа не сдержат свое обещание, я на Академии поставлю крест.

Вот почему в три часа дня Симон очутился в маленьком внутреннем дворе Академии в обществе полутора десятка репортеров, явившихся по обязанности, чтобы разузнать результаты, и полудюжины зевак, среди которых была госпожа Полан, никогда не пропускавшая таких событий. Холодный мартовский ветер мел по земле, у всех мерзли ноги. Собравшиеся говорили мало и вполголоса.

Один за другим прибывали академики, сторбленные, страдающие одышкой; одни, словно крысы, семенили по двору, вымощенному крупным булыжником, другие с трудом тащились, повиснув на руке камердинера. Лишь немногие степенно вышагивали, величественно опираясь на трость. Двое или трое, ищущие популярности, раскланивались с журналистами, прежде чем войти в зал заседаний.

Госпожа Полан, зная всех по имени, давала объяснения Симону.

– Это Франсуа де Кюрель, – говорила она. – Как он постарел с последних выборов! А вот и Анатоль Франс – видите, идет с Робером де Флер... Буалев в прошлом году отстаивал Домьера. Как-то он будет вести себя сегодня?

Когда показался Жером Барер, пузатый историк с растрепанной бородой, главный сторонник кандидатуры Лартуа, какой-то журналист приблизился к нему в надежде взять интервью.

– Я ничего не знаю, ничего не знаю! – закричал историк, замахав при этом пухлой рукой с грязными ногтями.

И устремился в подъезд.

Началось скучное ожидание в унылом дворе. Симон заметил долговязого бледного молодого человека лет двадцати пяти, одетого так, словно ему было уже пятьдесят. Он все ходил взад и вперед по двору, нервничая, покусывал перчатку, то и дело смотрел на часы.

– Вряд ли нам что-либо сообщат раньше чем через полчаса, – внезапно сказал он Симону. – Вы здесь в качестве кого, сударь?

– Я друг профессора Лартуа, – сказал Симон.

– Ах так! – произнес с кислым видом долговязый молодой человек. – А я сын барона Пинго.

Больше они между собой не разговаривали и только враждебно косились друг на друга.

Наконец часа в четыре в дверях показался маленький человек с эспаньолкой. Это был секретарь Академии, и все тотчас сгрудились вокруг него. Пронзительным голосом он невнятно зачитал результаты первого тура голосования. Во главе списка был профессор Лартуа, получивший четырнадцать голосов; вслед за ним шел барон Пинго – двенадцать голосов; за поэта Артюра Блонделя было подано четыре голоса из тридцати.

Симон кинулся в маленькое кафе на улице Мазарини позвонить по телефону. За ним, правда не столь проворно, бежал сын Пинго; нос этого унылого отпрыска барона покраснел от волнения.

Все это время Эмиль Лартуа ждал в своем кабинете на авеню Иены и не мог не только на чем-либо сосредоточиться, но и вообще сидеть на месте. Он пересаживался с одного стула на другой, переходил от книжного шкафа к письменному столу.

«Я выпил слишком много кофе, – думал он. – Сегодня вообще пить его не надо было. И потом, Марта всегда готовит слишком крепкий кофе. Двадцать раз я говорил ей об этом... До чего ж грустно жить одному. Кухарка, секретарша, секретарша, кухарка – вот и вся моя личная жизнь... Если все пойдет нормально, Пинго получит девять голосов, и я пройду после первого тура. А когда состоится церемония вступления в члены Академии? В июне, вероятно... Мне надо будет в своей речи коротко воздать хвалу Домьеру – очень коротко, уж ему-то я ничем не обязан... Да он и не успел занять свое кресло. Затем для перехода скажу: „Наш выдающийся прозаик, этот утонченный ум, чье кресло мне выпала честь занять, мог бы более достойно, чем я, проанализировать творчество великого поэта...“ И тут я перейду к Ла Моннери. Охарактеризую основные черты его творчества... И в заключение прибавлю: „Передо мной, господа, вновь и вновь встает облик поэта, лежащего на смертном одре... Я был его другом, я боролся за его жизнь до последней минуты...“»

Раздался звонок. Лартуа ринулся к телефону, нервными движениями расправляя запутавшийся шнур.

– Алло! Это вы, Симон? – крикнул он. – Сколько? Четырнадцать! А барон Пинго двенадцать!.. Полагают, что будет три тура?.. Нет, мой дорогой, это не так уж хорошо, как вам кажется! Вы очень любезны, я знаю, но к кому перейдут голоса, отданные в знак вежливости Блонделю? Мои противники постараются заполучить их, можете не сомневаться. И за меня кое-кто голосовал только из вежливости. Увидев, что я во главе списка, эти люди испугаются и отшатнутся. Было бы, пожалуй, даже лучше, если бы я шел вторым. Уверяю вас... Да-да, возвращайтесь туда!

Он повесил трубку и провел рукою по лбу.

«О! Барер был прав, – подумал он. – Очень досадно, что именно кандидатуру Пинго бросили мне под ноги в последнюю минуту. Они знают, что делают, эти либералы: нарочно выбирают барона, очень ловкий ход!.. Я сохраню голоса Барера и еще семи-восьми верных людей. Два герцога... Ох! Оба такие мягкотелые, никогда не знаешь, чего они хотят».

И в двадцатый раз за день Лартуа стал производить подсчет голосов, в которых был абсолютно уверен, тех, в которых он был просто уверен, и тех, в которых был уверен лишь наполовину.

Вошла кухарка и спросила, не нужно ли поставить бокалы для мадеры и приготовить чай, как в прошлый раз.

– Нет, нет, ни в коем случае, Марта! – воскликнул Лартуа. – Вы же видели, эти приготовления не принесли мне счастья.

– Верно-то оно верно. Но даже если вы провалитесь, все равно придет много народу, – ответила кухарка.

– Ну что ж! Решим в последнюю минуту.

И Лартуа вновь принялся подсчитывать свои шансы. Как медленно тянется время! Симон, оказывается, позвонил всего лишь пять минут назад. «Однако если бы я получил двенадцать голосов, а этот идиот Пинго – четырнадцать, я был бы в еще худшем положении, – успокаивал он себя. – Прежде всего четырнадцать – один и четыре, то есть пять, – это хорошая цифра. Но двенадцать – один и два, то есть три, – еще лучше. Если я за четырнадцать шагов обойду вокруг ковра, значит, меня выберут. Раз... два... три...»

Внезапно Лартуа увидел себя в зеркале: он делал огромные прыжки по комнате. «Я просто смешон!»

Он остановился и пошел в спальню за Евангелием на греческом языке. Это была его настольная книга: каждую ночь он перед сном обязательно прочитывал из нее несколько стихов, чтобы поддержать гибкость ума, как он утверждал. А когда заканчивал Евангелие от Иоанна, что случалось приблизительно каждые два года, то начинал все сызнова.

Но греческий язык на сей раз не возымел обычного успокоительного действия. Он пробежал три строки и подумал: «Сейчас свершается. Быть может, все уже кончено. Быть может, я уже провалился... Ах! Невеселая меня ждет старость...» У него не было даже постоянной любовницы, прочной женской привязанности. «Я их всех слишком часто обманывал, и вот итог!..» Потом, вернувшись к своему навязчивому желанию стать академиком, он сказал про себя, беззвучно шевеля губами: «По меньшей мере пятнадцать из них стояли передо мной нагишом, а получил я всего-навсего четырнадцать голосов!.. Кто же этот пятнадцатый?» Среди представших его мысленному взору фигур со сгорбленными спинами, усеянными темными старческими пятнами, с отвислыми животами, поросшими редкими седыми волосками, он упорно искал предателя.

Снова зазвонил телефон.

– Алло! Лашом? – закричал Лартуа. – О! Простите, дорогая... Да, я ждал звонка... Конечно, конечно... Спасибо, неплохо. Четырнадцать голосов в первом туре... Да... Да...

От нетерпения у него дрожали ноги. Зачем понадобилось этой идиотке звонить именно сейчас? Он забыл, что два дня назад чуть было не изнасиловал ее в машине. Казалось, она никогда не кончит говорить.

– ...Ну что ж, примите таблетку гарденала... Вот именно! Извините, дорогая, меня зовут. И он повесил трубку. Почти сразу же вновь раздался звонок.

– Алло! Да... Что? Неужели? – воскликнул Лартуа. – Сколько голосов? Девятнадцать? А Пинго? Десять? Так! Спасибо, милый Симон. Спасибо! Очень, очень хорошо... Да, приходите сейчас же, жду вас.

И он упал в кресло; вдруг ему стало жарко; кровь прилила к вискам, сердце стучало, перед глазами стоял туман.

– Ах! Как я счастлив! – бормотал он. – Как я счастлив! Такая радость может продлить жизнь лет на десять.

Ему необходимо было поделиться с кем-нибудь своим триумфом, он подбежал к дверям кабинета.

– Марта, Марта! – крикнул он. – Приготовьте чай и мадеру. Я избран.

– Вот и хорошо. Очень рада за вас, – ответила кухарка. – Вам так этого хотелось!

Когда Симон примчался в такси, Лартуа сказал ему:

– Я никогда не забуду, мой юный друг, что вы для меня сделали.

Мало-помалу к нему возвращалось обычное спокойствие, потому что начали приходить друзья и рассыпались в поздравлениях и комплиментах.

Госпожа Этерлен, извещенная Симоном, прибыла одной из первых; тотчас же вслед за ней явился Жером Барер. Историк-бородач ворвался с грохотом, напоминавшим землетрясение.

– Лартуа, отныне вы вступили в нашу семью! – зарычал он, прижимая нового академика к своему могучему животу. – Это была эпическая, поистине эпическая битва, друг мой! Я дрался за вас, как лев, как маршал Тюрэнн. А барона Пингвина к чертям! На Северный полюс!

Несмотря на все усилия Лартуа сохранить светский тон и показать, что он принимает с подобающей скромностью честь, которую ему оказали, лицо его выражало явное торжество, глаза блестели от счастья.

Все щебечущие женщины, заполонившие его квартиру, казались ему молодыми, красивыми и желанными, все мужчины – остроумными, высокопорядочными и преданными людьми.

– Дорогой Эмиль, вы, верно, страшно волновались, ожидая результатов? – спросила поэтесса Инесса Сандоваль.

– Я, например, дорогая, в день своего избрания вел себя совсем как сумасшедший, – сказал историк, набивая рот печеньем. – Тормошил жену, тормошил детей, вообще был вне себя. Ах! Это было что-то невероятное!

Они походили на лицеистов, которые делятся впечатлениями от экзаменов. Попасть в число «бессмертных» – таков был их последний экзамен, и они кричали «Принят!» со всем пылом, свойственным юности.

– А я, ожидая, читал Евангелие на греческом, – заявил Лартуа с улыбкой.

– Необыкновенно! Необыкновенно! – воскликнул историк, сдувая сахарную пудру с бисквита. – Слыхали? Он читал по-гречески, да еще Евангелие! Лартуа – один из величайших характеров нашего века! Можете мне поверить, в оценке людей я никогда не ошибаюсь!

4

В начале апреля из Америки возвратился Ноэль Шудлер, помолодевший, преобразившийся. Он носил теперь светлые костюмы, шляпы из мягкого фетра, низкие воротнички. Энтузиазм бил в нем через край, он был весь во власти новых проектов и утверждал, что поедет зимой в Аргентину, а через год в Скандинавию. Он с сожалением смотрел, как его чемоданы уносили на чердак.

– Глупо, – говорил он, – жить по старинке и руководствоваться старыми принципами, когда в мире столько всяческих богатств и столько новых возможностей!

Франсуа был в восторге, увидев отца в таком отличном настроении.

В первую же неделю после приезда Ноэль устроил в своих огромных апартаментах на авеню Мессины прием, на который устремился весь Париж. Приглашенных угостили каким-то заморским пойлом, которое именовалось «коктейлем». Уже через час женщины заговорили торжествующе-пронзительными голосами, мужчины стали громко хохотать и держать себя весьма непринужденно. Ничего нельзя было разобрать. Все тонуло в общем шуме, который царил под высокими потолками, облицованными искусственным мрамором; у всех развязались языки. Никогда еще сборище парижского «высшего света» не смахивало до такой степени на ярмарочную гулянку. Все это, конечно, противоречило «хорошему тону», но зато собравшиеся веселились вовсю.

Великан принимал гостей сам и со словоохотливостью первооткрывателя подробно делился своими американскими впечатлениями. Присутствующим парламентариям он давал урок внешней политики, молодому художнику советовал выставить картины в Нью-Йорке, промышленникам жаловался на отсталую организацию производства во Франции. «А вот у американцев есть система Тейлора...» Вместе с тем он задавал каждому своему собеседнику множество вопросов, как будто отсутствовал года два.

О нем говорили:

– Шудлер удивительный человек. Ну кто скажет, что ему шестьдесят шесть лет? Это гранитный утес.

В половине десятого все еще оставалось человек пятьдесят: они, казалось, забыли, что им пора обедать. Когда гости наконец ушли, Ноэль прошелся по саду, полюбовался своим особняком, все окна которого были освещены. Стояла теплая весенняя ночь, в воздухе разливался терпкий аромат распустившихся почек.

– Все же приятно вернуться к себе домой, – убежденно произнес он.

И обнял жену, в глазах которой стояли слезы.

– Ты мне много изменял? – прошептала она.

На следующий день он вновь принялся за работу.

Первый же из сотрудников, сказавший: «Этот вопрос я разрешу с господином Франсуа», нанес ему удар. До сих пор обычно сам Ноэль советовал: «Рассмотрите это вместе с господином Франсуа». Но прежде эти слова ничего не значили, так как по давно заведенному порядку все материалы автоматически возвращались в кабинет Ноэля.

За эти два месяца многое изменилось. Ноэль обратил внимание, что в банке Франсуа называют «барон Шудлер-младший», а в газете сотрудники моложе тридцати пяти лет усвоили привычку, обращаясь к Франсуа, называть его «патрон».

В редакционном зале висела на стене карикатура, изображавшая Франсуа, который гасит спичку свойственным ему размашистым жестом. Ноэль Шудлер сказал:

– Это не очень удачно.

И отметил, что некоторые сотрудники как будто не согласны с его замечанием.

Положение владельца крупного частного банка и управляющего Французским банком позволяло Ноэлю Шудлеру распоряжаться газетой лишь на правах основного акционера. На деле же он выполнял функции директора, проводил в редакции ежедневно по несколько часов, занимаясь буквально всем. Другие банкиры с некоторым презрением относились к его «увлечению» журналистикой и считали это просто блажью. Для Ноэля же газета была его детищем, его радостью, наглядным и каждодневным выражением его могущества, орудием, которое заставляло министров почтительно здороваться с ним.

За время его отсутствия розничная продажа «Эко дю матен» возросла на шестнадцать тысяч экземпляров. Франсуа стал по-иному верстать газету, изменил расположение рубрик, по-другому размещал объявления.

Довольный собой и заранее уверенный, что отец похвалит его, он сказал:

– Я хотел проделать небольшой опыт. Еще одно усилие – и мы увеличим тираж на тридцать тысяч экземпляров.

– Это ошибка, ошибка! – ответил Ноэль. – Газета с устоявшейся репутацией не допускает подобных опытов. Из-за тридцати тысяч твоих новых читателей мы рискуем за каких-нибудь полгода потерять шестьдесят тысяч наших прежних подписчиков.

Понимая все же, что Франсуа прав, он добавил:

– Не будем трогать того, что ты ввел, – нельзя же непрерывно менять курс. Однако хватит новшества.

Неукротимое стремление к переменам, привезенное им из Америки, уже полностью улетучилось. Больше не было разговоров о системе Тейлора, и могло показаться, что Новый Свет посетил не Ноэль, а Франсуа, не покидавший Парижа.

Желая доставить удовольствие Ноэлю, друзья и льстецы без конца расхваливали его сына.

– Да-да, Франсуа молодец, я им горжусь, – отвечал он. – Впрочем, это моя школа, а сам я прошел выучку у отца. Я передал сыну традиции Шудлеров.

Глаза его сужались, и у собеседников возникало такое ощущение, будто перед ними неприступная крепость.

Великан с каждым днем становился все суровее, сумрачнее и раздражительнее; он сам это замечал и не мог понять, что с ним происходит. «Должно быть, меня утомила поездка», –

думал он. Ему постоянно казалось, что его стали меньше уважать; он с тревогой смотрелся в зеркало.

Конфликт вспыхнул в газете по незначительному поводу: из-за Симона Лашома. Умер заведующий отделом внешней политики, и Франсуа воспользовался случаем, чтобы предложить кандидатуру Симона.

– Во-первых, каких политических взглядов придерживается твой Лашом? – спросил Ноэль, сразу же встретив предложение в штыки. – Сторонник Руссо? Так, хорошо. А сколько ему лет?.. Тридцать три?

И, стукнув кулаком по столу, закричал:

– Мальчишка! Совсем еще мальчишка! Если тебе дать волю, ты превратишь редакцию в детский сад.

– А сколько лет было папаше Бонетану, когда ты доверил ему отдел? – обиженно возразил Франсуа.

– Папаша Бонетан, как ты его называешь, был мне ровесником... я хочу сказать, он умер в моем возрасте...

Ноэль Шудлер почувствовал, что вступает на скользкий путь, ведь Бонетан писал в «Эко дю матен» около тридцати лет. И, решив поправить дело, он громко рявкнул:

– Кроме того, Бонетан хорошо знал свое дело! А главное, кто здесь хозяин, черт побери? Кажется, я, и если я говорю нет – значит, нет!

– Конечно, хозяин здесь ты, – невозмутимо ответил Франсуа.

– По-видимому, это не всем ясно! – вспыхнул Ноэль. – «Господин Франсуа» здесь, «господин Франсуа» там... У «господина Франсуа» свои планы в отношении газеты. «Господин Франсуа» намерен переоборудовать Соншельские сахарные заводы. «Господин Франсуа» хотел бы перестроить здание банка! А ведь у «господина Франсуа» еще живы отец и дед, которые уже десятки лет работают, борются и, как псы, бросаются на противника ради того, чтобы их наследник сделался тем, чем он стал ныне...

Он терял самообладание. Слова выскакивали из его уст, как черные ленты изо рта фокусника. Он не обращал внимания на присутствие главного редактора, он даже воспользовался этим, чтобы унижить сына, хотя тем самым вредил и самому себе. И слова, и тон его были донельзя грубы.

– ... А «господин Франсуа» решительно ничего не смыслит... Ведь ты решительно ничего не смыслешь, понятно? Так вот, под тем предлогом, что ты был несчастным капитанишкой кавалерии, носил форму, оплаченную отцом, был награжден военным крестом, тоже, кстати сказать, оплаченным твоим отцом, как, впрочем, и все остальное...

– Ну, это уж слишком! – воскликнул Франсуа. – Я не позволю! А мою рану ты, может быть, тоже оплатил? Не для того мы проливали кровь, пока вы улепетывали в Бордо, чтобы...

– Замолчи! – заревел гигант.

Глаза у него вылезли из орбит и налились кровью. Голос его проникал сквозь двойную дверь и был слышен даже в секретариате.

Главный редактор, весьма смущенный тем, что присутствует при этой сцене, сделал робкую попытку вмешаться.

– Патрон, послушайте!.. – сказал он.

– Заткнитесь, Мюллер! – заорал Ноэль Шудлер. – Не то и вам достанется! Отныне мой сын не будет распоряжаться в газете. Вы слышите? Не будет! Пусть развлекается, держит скаковых лошадей, парусные яхты или псовую охоту на те деньги, которые я, и вы, Мюллер, и вся редакция добываем ему! Но газета не игрушка, а я еще не совсем выжил из ума. Пусть подождут, пока я умру, и тогда уж разрушают все, что я создал.

Сердце его стучало, как паровой молот. Вспомнив о своей грудной жабе, он сразу же перестал кричать.

– Недолго, верно, осталось ждать, – произнес он неожиданно упавшим голосом. – Уходите!.. Уходи, Франсуа! Уходи!.. Прошу тебя, уйди.

Он задыхался после приступа ярости, с трудом подбирая слова, хватался за грудь.

– Вот... Вот... Великолепный результат... – бормотал Ноэль.

Он вытянулся во весь свой огромный рост на кожаном диване, отстегнул воротничок и вызвал Лартуа. Профессор, выслушав банкира, заявил, что сердце у него хоть юноше впору и что он просто переутомился немного.

5

Гнев Ноэля Шудлера напоминал ярость носорога, который навсегда проникается ненавистью к безобидным кустам, если они шелохнулись и сильно его напугали. На следующее утро после часовой беседы со старым бароном Зигфридом в кабинете, обтянутом зеленой кожей, Ноэль пригласил туда Франсуа.

– Мой мальчик, я много размышлял после того, что случилось вчера, и решил, что нужно по-иному распределить наши обязанности, – объявил он сыну.

Он говорил спокойным и чуть торжественным тоном.

– Если и впредь будет повторяться то, что произошло вчера при Мюллере, – холодно ответил Франсуа, – то я предпочитаю, отец, вообще устраниваться от твоих дел и предложить свои услуги в другом месте.

– Ну, не надо сердиться и говорить глупости. Во-первых, не существует *моих дел*, а есть *дела Шудлеров*, – сказал Ноэль, широким движением руки указывая на старого барона и на Франсуа. – И барону Шудлеру не к лицу поступать к кому-нибудь на службу. Особенно сейчас, когда мои годы все больше дают себя знать. Что бы ни говорил Лартуа, я начинаю сдавать, это мне ясно, вчерашняя вспышка – лишнее тому доказательство. Не стоит на меня обижаться. Я и сам не помнил, что говорил... Прошу тебя, милый Франсуа, забудь все это.

Не в обычае Ноэля Шудлера было извиняться после приступа ярости, какой бы неоправданной ни была вспышка. Франсуа и в самом деле поверил, что отец устал. И это проявление слабости, старости, эта трещина в монолите были ему тягостны. Великан прекрасно играл свою роль: он сидел, чуть сгорбившись, и примирительно разводил огромными руками.

– Не будем об этом больше говорить, отец, – сказал Франсуа.

И, стараясь скрыть волнение, закурил сигарету, погасив спичку своим обычным размашистым жестом.

Дед, восседавший в своем почетном кресле, молчал и смотрел на Франсуа подозрительным взглядом дряхлого сфинкса.

– Так вот, Франсуа, – продолжал Ноэль, – я думаю, мы должны распределить обязанности. И тогда между нами не будет столкновений. Я по-прежнему намерен заниматься банком...

– А газету передашь мне? – с живостью спросил Франсуа.

– Нет, – отрезал Ноэль, и взгляд его снова стал жестким.

Франсуа понял, что отец скорее уступил бы ему свою любовницу, чем руководство «Эко дю матен».

– Во всяком случае, не сейчас, – сказал Ноэль, смягчаясь. – Я хочу, чтобы ты взял теперь в свои руки Соншельские сахарные заводы. Ты сам говорил мне, что это прекрасное предприятие, но оно нуждается в полной модернизации. У меня уже не хватит энергии ее осуществить. Мы предоставляем тебе полную свободу действий. Отныне ты хозяин Соншельских заводов. Я убедил твоего деда, он согласен. На ближайшем заседании правления ты будешь облечен такими же полномочиями, какие в свое время получил я...

Он открыл один из шкафов красного дерева, вынул объемистую папку с надписью «Сахарные заводы», перелистал планы предприятий, проекты акций с рисунками времен Наполеона III, вырезки из финансовых бюллетеней.

«Почему дед так странно на меня смотрит?» – спрашивал себя Франсуа, все время ощущая взгляд старика.

– ... А полномочия эти я получил, как видишь, ровно двадцать девять лет назад, – сказал Ноэль. – Через три года после твоего рождения.

Ноэлю Шудлеру казалось, что все это произошло только вчера. И тем не менее за эти годы ребенок в коротеньких штанишках превратился во взрослого мужчину, сидевшего теперь перед ним, мужчину с отливающими синевой бритыми щеками и с тем решительным, раздражающим жестом, которым он обычно гасит спички. Ребенок стал, по существу, чужим человеком, и с ним приходится считаться только потому, что этот чужой человек и он сам, Ноэль Шудлер, связаны узами крови.

Франсуа листал папку и видел длинную и поблекшую от времени подпись деда, завершавшуюся замысловатым росчерком, выдающим человека осторожного, и жирную подпись отца, в котором имя четко отделялось от фамилии. Вскоре к ним прибавится и его собственная подпись.

Старик наконец разомкнул уста.

– Знаешь, сахар – это очень важно! – сказал он. – Вот смотри, – и Зигфрид указал рукой с набухшими венами на портрет первого барона Шудлера в костюме придворного. – Все мы ему в подметки не годимся... пф-ф... Он предсказал еще до тысяча восемьсот пятидесятого года: *die Banken, der Zucker und die Presse das ist die Zukunft...*¹⁸ пф-ф... А его советы всегда приносили только пользу.

Ноэль захлопнул толстую папку и протянул ее Франсуа.

– Вот, мой мальчик, возьми ее, – произнес он, – и приступай к делу. Тебе предоставляется полная, неограниченная свобода действий.

– Спасибо, отец, – ответил Франсуа.

Совсем не о сахарных заводах он мечтал, но все же утешался мыслью, что у него будет теперь свое собственное, ни от кого не зависящее поле деятельности. Особенно его удивляла неожиданная готовность отца уступить ему долю своей власти.

«Он понял, что стареет, – подумал Франсуа, – и что отныне я стал опорой семьи...»

Когда он закрыл за собой обшитые двери, великан и старик Зигфрид обменялись долгими взглядами. Они уже забыли о том времени, когда на протяжении нескольких лет сами относились друг к другу как противники, работая бок о бок, прикованные одной цепью к своему богатству. Теперь они объединились, чтобы противостоять нетерпеливому напору молодого поколения.

– Ничего, Франсуа еще придет ко мне, когда ему понадобится увеличить капитал, – сказал Ноэль. – Мы ему создали слишком легкое существование. Он нуждается в хорошем уроке. Так пусть уж лучше урок дадим мы сами, а не жизнь.

6

Жаклина Шудлер вышла замуж в 1914 году, не получив полного согласия своих родственников Ла Моннери, считавших эту партию хоть и выгодной, но не слишком блестящей, а время для замужества выбранным неудачно; но фактически ее супружеская жизнь началась лишь после войны. И она каждый день радовалась тому, что настояла на своем и вышла за Франсуа. Те, кто утверждал, будто она польстилась на деньги, равно как и те, кто говорил,

¹⁸ Банки, сахар и пресса – вот в чем будущее (нем.).

будто Шудлер-младший решил, породнившись со старинной дворянской семьей, облагородить золото своего австрийского герба, одинаково заблуждались. То был брак по любви и оставался таким. Жаклина все любила в своем муже: его несколько массивную фигуру, присущее ему мужество и чувство чести, энтузиазм, с которым он брался за что-либо новое, и бурное отчаяние при первой же заминке – доказательство того, что все в жизни он принимал близко к сердцу; она любила в нем даже некоторую развязность, даже грубоватость, сквозившую иной раз и в разговоре, и в манерах. Она видела во всем этом проявление чисто мужской сущности.

Жаклина сожалела, что Франсуа уже стал деловым человеком; сама она происходила из среды, где большое состояние не вызывало стольких забот.

Франсуа Шудлер был утвержден в должности главного директора сахарных заводов в Соншеле и тотчас же горячо принялся за дело. Он без конца ездил из Парижа в Па-де-Кале и обратно, созывал инженеров, архитекторов, заставлял чертить планы новых построек, заказывал машины в Америке, изучал историю культуры свекловодства начиная с середины прошлого столетия. Одновременно он заручился поддержкой журналистов и считал себя очень ловким дельцом, так как сумел добиться небольшого повышения курса Соншельских акций на бирже. Никогда еще сахарные заводы не имели такого предприимчивого руководителя.

– Я строю душевые и спортивную площадку для персонала, – рассказывал Франсуа Жаклине. – Знаешь, меня там очень любят. Я хотел бы все это показать тебе, дорогая. На днях я собрал всех рабочих, взял слово...

Жаклина уже привыкла к этим постоянным «я сказал...», «я собираюсь сделать...», но она подумала, что поездка в Шотландию, намеченная на лето, становится с каждым днем все более проблематичной и ей, верно, придется отправиться с детьми в Довиль – так будет удобнее для Франсуа. Он выглядел счастливым, и это ее утешало. Она опасалась только, как бы он не переутомился. Спальни супругов были смежные, и дверь между ними всегда оставалась открытой. Франсуа часто вставал среди ночи, чтобы записать то, что пришло ему в голову. Потом он спрашивал шепотом:

– Ты спишь?

Если Жаклина отзывалась, он шел к ней и излагал свою новую идею. Ему необходимо было с кем-то поделиться, чтобы уяснить до конца собственную мысль.

Франсуа собирался создать трест, купить бумажную фабрику и изготовлять упаковку для сахара, завести собственную типографию, выпускать еженедельник, баллотироваться в депутаты, выступив перед избирателями с проектом целой серии общественных реформ. Планов, собранных в его синих папках из бристольской бумаги, хватило бы на то, чтобы заполнить жизнь по крайней мере четырех обыкновенных людей, и он порою думал о себе: «Я один из самых выдающихся представителей моего поколения».

Всякий раз, знакомясь с очередным новым проектом перестройки сахарных заводов, Ноэль Шудлер повторял:

– Мы тебе дали полную свободу, мой мальчик, полную свободу. Я тебе абсолютно доверяю.

В какой-то степени он говорил это искренне: промышленность и техника его действительно не интересовали. Ему нравилось сражаться только на финансовом поле боя. Все же он досадовал: ему не терпелось вернуть себе ту долю власти, от которой он якобы отказался.

Наступил момент, когда заводам понадобилось увеличить капитал: расходы, произведенные Франсуа, не позволяли медлить с этим.

Ноэль коротко заявил, что ни на какое увеличение капитала он не пойдет; в лучшем случае речь может идти лишь о незначительной сумме.

Франсуа был потрясен.

– Но ведь мы потеряем контроль над Соншельскими заводами именно тогда, когда дела улучшились! – воскликнул он. – Доход удвоится...

– Если так, то незачем увеличивать капитал, – спокойно возразил Ноэль.

– Но это необходимо. Работы уже начаты!

– Ну, мой милый, если ты был так неосторожен, – сказал Ноэль, – то это становится опасным. В крупных предприятиях, знаешь ли, все должно быть не менее ясным, чем в книге расходов дворцового. На рынок без денег не ходят.

– Но я всегда предполагал, что необходимость увеличения капитала – вещь неоспоримая!

– Тебе пора знать, – наставительно заметил Ноэль, – что в делах ничего нельзя предполагать, а надо быть всегда твердо уверенным. Деловому человеку увлекаться миражами непрестительно.

Ноэль был упрям, непреклонен; прищурившись, он стал говорить о возможной девальвации, об угрозе экономического кризиса, об утечке денег, о доверии, которым его облекли клиенты, – словом, вел себя как истый банкир.

Франсуа охватила тревога. Касса Соншельских заводов могла выдержать только текущие расходы, не больше. «Я в тупике», – подумал он в отчаянии. И стал винить себя в том, что несколько поспешил и зашел слишком далеко. Но он так верил в поддержку, ведь ему предоставили полную свободу действий!

– Тем более надо было проявить осмотрительность! – закричал Ноэль Шудлер с наигранной яростью. – Впрочем, это моя вина. Ты хотел быть хозяином, и я тебе уступил; я думал, что ты способен самостоятельно руководить большим предприятием. Но ты повел себя как мальчишка; самый последний из моих банковских служащих не поступил бы так. Да, я оказался безрассудным отцом.

По мере того как банкир говорил, он распалялся все больше.

– Если мы по твоей милости потеряем Соншельские заводы, ты сможешь этим гордиться! – рычал он. – Эта история сразу вгонит в гроб и меня и твоего деда. Хорош ты тогда будешь! Ручаюсь, не пройдет пяти лет, и ты вылетишь в трубу!.. Выходит, мне снова надо исправлять твои промахи? Тебе не о чем беспокоиться, не правда ли? За твоей спиной отец, он всегда поможет!.. Ну а я вот не знаю, как за это взяться! Придется срочно что-нибудь продавать, и с убытком. Но что именно? У нас ведь нет в сейфах миллионов для осуществления твоих гениальных идей. Надо поискать группу дельцов, которые согласились бы оказать нам поддержку. Вот все, что я смогу сделать... В общем, славную ты нам задал задачу.

Франсуа был подавлен.

– В сущности, тебе не следовало доверять мне сахарные заводы, – сказал он. – Я не создан для работы в промышленности.

– Вот первое умное слово, какое ты произнес за всю свою жизнь. Ступай! Не могу тебя видеть. Убирайся!

Оставшись один, Ноэль Шудлер подумал: «А что, если бы это была правда и мы действительно потеряли бы Соншельские заводы?..»

Он был убежден, что его претензии к сыну вполне справедливы. К счастью, он предугадал, что именно так оно и обернется, все предусмотрел еще в то время, когда только задумал разделить сферу их деятельности. И сейчас он порадовался своей проницательности.

«Я знал, у него не хватит пороку!..» – сказал он себе.

И пригласил Люсьена Моблана.

7

Баронесса Адель Шудлер в светло-сером костюме, в вуалетке, закрывавшей верхнюю часть лица, собиралась уже выйти из дому, когда столкнулась в вестибюле лицом к лицу со своим первым мужем Люсьеном Мобланом. Они не виделись лет пять, не разговаривали лет

десять, а расстались уже почти тридцать пять лет назад. К ней приближался мертвец, хуже, чем мертвец, – тот, кого заживо хоронишь в глубинах своей души.

– Ваш новый супруг просил меня зайти к нему, – сказал он, наклоняя свою уродливую голову к ее протянутой руке.

От совместной жизни с Мобланом, длившейся шесть месяцев, у баронессы Шудлер остались самые отвратительные воспоминания; время частично изгладило их, но прочная ненависть, вызванная мерзкой брачной ночью, сохранилась навсегда.

Этот глухой сдавленный голос, как будто выползавший из уголка искривленного рта Моблана, эти язвительные интонации, казалось, приподнимали могильную плиту над тем, что она изо всех сил старалась забыть, и ей почудилось, будто к ее пальцам прикоснулись губы мертвеца.

– А ножки у вас все еще хороши! – сказал он. – Вы счастливы, моя дорогая?

– Очень! – сухо ответила госпожа Шудлер, направляясь к застекленной двери. «Зачем Ноэль пригласил его сюда?» – думала она.

И удалилась, терзаемая мрачными предчувствиями, словно какая-то беда уже проникла к ней в дом.

Ноэль Шудлер ожидал Моблана в своем кабинете. Они были знакомы с юных лет и ненавидели друг друга.

У великана в тот день был особенно внушительный вид; он встретил гостя радушно, разговаривал доверительным тоном.

«Он мне противен, – думал Люлю. – На восемь лет старше меня, а совсем не старится, мерзавец!»

Барон Зигфрид тоже присутствовал при беседе; в виде исключения он сидел не на своем обычном месте, а в кресле с высокой спинкой, обитом вышитой тканью.

– Ты помнишь моего друга Моблана, отец? – громко спросил Ноэль.

– Да, да... Отлично помню, – ответил старик. – Первый муж твоей жены, не так ли? Это было в тысяча восемьсот пятидесятом... нет... я хочу сказать, в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом. А! Видите?... Пф-ф... У меня хорошая память!

Ноэль усадил гостя, предложил ему кофе, коньяку, дорогую сигару. Старик Зигфрид смаковал шартрез; лицо его как будто вздулось от выпитого ликера и походило на пропитавшуюся влагой старую губку.

Люлю спрашивал себя, что означают все эти приготовления, и держался настороже.

– Ты знаком с моими внуками?... Они, кстати, доводятся тебе чем-то вроде внучатых племянников, – сказал Ноэль, подчеркивая наличие родственных уз между Люлю и женой Франсуа.

– Нет, я еще не имел этого удовольствия, – ответил Люлю.

Ноэль попросил по внутреннему телефону прислать к нему Жан-Ноэля и Мари-Анж. Они пришли; Ноэль заставил их поцеловать человека с уродливым черепом и широким галстуком. И Моблану, и детям это было одинаково неприятно.

– Здравствуйте, здравствуйте, – пробормотал Люлю. – Милы, да-да, очень милы. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? – спросил он Жан-Ноэля.

– Сорокалетним мужчиной, – серьезно ответил мальчик.

– Он будет настоящим Шудлером, вот кем он будет, – сказал великан, потрепав мальчика по затылку.

Мари-Анж внезапно сделала знак брату, и оба скорее испуганно, чем насмешливо, уставились на старика. Барон Зигфрид допивал свой шартрез, и ему никак не удавалось перелить в рот остатки ликера из узкой золоченой рюмочки, все время мешал его огромный нос; чтобы вылизать липкую влагу, осевшую на дне, старик высунул крючковатый фиолетовый толстый

язык, и тот медленно шевелился в прозрачном конусе, заполнив его целиком, и напоминал пиявку, которая разбухла от крови и вот-вот лопнет.

Когда Ноэль счел, что Люлю достаточно уязвлен лицемерием маленьких Шудлеров и уже пришел в чрезвычайно дурное настроение, он отослал детей.

– Я хотел поговорить с тобой о Соншельских сахарных заводах, – сказал он.

«А-а! Вот где собака зарыта, – подумал Моблан. – Осторожнее, Люлю! Тебе расставили ловушку!»

– Сейчас ими руководит твой сын, – проговорил он.

Ноэль принялся расписывать достоинства Франсуа, «замечательного малого, энергичного, со свежими идеями». Франсуа теперь перестраивает там все, начал огромные работы по реконструкции, доход скоро удвоится.

– Ну что ж, прекрасно, – повторял Люлю, прикусив зубами кончик сигары.

– У тебя, кажется, есть пакет Соншельских акций? – спросил Ноэль. – И у твоих племянников из банка Леруа тоже?

«Чего он добивается? Точных данных? Все сведения у него есть, – подумал Люлю, отпивая глоток, чтобы выиграть время. – Он затевает какую-то комбинацию и хочет, чтобы я уступил ему свои акции. Как бы не так. Пусть себе бесится, что они у меня есть».

– Да, у нас есть немного Соншельских акций, – небрежным тоном ответил Моблан, ставя рюмку на место.

– Мы должны в ближайшее время увеличить капитал, – заявил Ноэль.

– Ну что ж, отлично.

Всякий раз, когда Люлю чувствовал, что от него чего-либо хотят, он отвечал односложно, давал противнику выговориться, прикидывался ничего не смыслящим простачком и наслаждался замешательством людей, не решающихся высказать свое желание или свои затруднения; он поступал так всегда – шла ли речь о десяти луидорах для продажной красотишки или о комбинациях крупного финансиста.

Но в тот день он и в самом деле не мог разгадать маневр собеседника. Пытаясь проникнуть в мысли Ноэля, он спросил:

– А как оно происходит, это самое увеличение капитала?

«А! Ты прикидываешься ослом, дружок? – сказал себе Ноэль Шудлер. – Ну хорошо же!» И сделав вид, будто принимает игру Моблана всерьез, он подробно изложил техническую сторону, хотя Люлю и сам ее отлично знал. Основной капитал Соншельских сахарных заводов при создании акционерного общества в 1857 году составлял пятьдесят миллионов – сумму огромную по тем временам – и был разделен на пятьсот тысяч акций по сто франков каждая.

– Соншельские акции котируются сейчас... Тебе, конечно, известен утренний курс... – сказал Ноэль.

– Нет, я еще не справлялся, – ответил Люлю.

– Две тысячи двадцать пять, – продолжал Ноэль. – Скажем, для круглого счета – две тысячи. Заводы стоят сегодня не менее миллиарда. Мы решили увеличить номинальный капитал с пятидесяти до семидесяти пяти миллионов и предложить каждому держателю по одной новой акции на каждые две старые.

Стоимость новой акции определялась в пятьсот франков. Это означало, что в кассу Соншельского акционерного общества должно поступить не двадцать пять, а сто двадцать пять миллионов.

– Если у тебя, к примеру... допустим... две тысячи акций... Я называю цифру наугад... – продолжал Ноэль.

«Двенадцать тысяч, и ты это отлично знаешь», – подумал Люлю. Он уже произвел в уме подсчет и знал, что сумма, на которую ему предложат подписаться, составит четыре миллиона.

– ...то тебе предложат тысячу. И каждая новая акция, за которую ты заплатишь пятьсот франков, равна теоретически, в день выпуска, средней цене трех акций: две прежние – по две тысячи, что составляет четыре тысячи, затем новая – пятьсот франков, выходит четыре тысячи пятьсот. Раздели эту сумму на три, получается тысяча пятьсот франков. Ты следишь за мной?

– Да, очень внимательно.

Но Люлю по-прежнему не понимал, куда клонит банкир, до тех пор пока великан не намекнул, правда с различными оговорками и недомолвками, что для него самого сейчас затруднительно приобрести новые акции.

В первую минуту Люлю Моблан этому не поверил. Шудлер решается на увеличение капитала за счет привлечения чужих средств? Невероятно! Но великан стал затем приводить те же доводы, какие он излагал Франсуа, – на сей раз совсем в ином тоне. И в душе Люлю Моблана зазвучала музыка, он узнал мелодию – то был венгерский вальс. Мелодия нарастала, звучала все сильнее и громче, превращаясь в настоящую песнь торжества. Он едва не начал напевать вслух, пока Ноэль говорил.

Уже треть века Люлю с нетерпением ждал этой минуты, подстерегал ее. Третью века он не уставал повторять, что «эти бандиты Шудлеры, эти негодяи Шудлеры» слишком много берут на себя, пускаются в слишком рискованные операции, что образ их жизни, пышные приемы неминуемо их разорят, они в конце концов «свернут себе шею», – вот тогда-то он, Люсьен Моблан, всласть насладится зрелищем их банкротства. Не один раз на протяжении этих тридцати лет Люлю, занимаясь крупной игрой на бирже, пытался подставить ножку Шудлеру. Во время Панамской аферы, когда все обезумели, казалось, ему это удастся. И всякий раз Моблану приходилось сознаваться, что не они, а сам он, по его собственному выражению, «расквасил себе нос».

Пробил час возмездия. Если уж Ноэль вынужден признаться в том, что попал в затруднительное положение, значит, он сидит на мели. Теперь все становилось понятным: и наигранная самоуверенность Ноэля, и заранее подготовленная сцена с внучатами, которых привели сюда, как бы вспомнив невзначай, что Люлю тоже член семьи, и коньяк 1811 года, и присутствие старика Зигфрида, клевавшего носом в кресле, хотя обычно он в этот час отдыхал у себя в спальне после завтрака.

Заметив радостное оживление на уродливом лице собеседника, Ноэль принялся объяснять, что ему самому, очевидно, придется уступить часть своих новых акций группе друзей, договорившись с каждым о его доле.

«Дурак! Сам лезет в пасть к волку! – сказал себе Люлю. – А может, ему просто не к кому больше обратиться? Да, именно так. Сын наделал глупостей, все Шудлеры делали глупости. Акционерное общество Соншельских сахарных заводов вот-вот обанкротится. Они в тупике».

– Ну а ты, к примеру, не мог бы взять часть моей доли? – спросил наконец Ноэль.

– Сколько акций ты уступишь? – сказал Люлю.

Он нуждался в этом уточнении, чтобы укрепить свою уверенность. Во многих старых акционерных обществах с огромным числом акционеров контрольный пакет принадлежал владельцам сравнительно небольшой части основного капитала; в данном случае – владельцам тринадцати процентов всего количества акций. Достаточно им выпустить из рук хотя бы десять тысяч акций, и они потеряют контроль над сахарными заводами. Ноэль ответил:

– Четырнадцать тысяч.

Люлю молча уставился на носки ботинок, чтобы скрыть свою радость. Прошла добрая минута в молчании. На такое количество Моблан даже не рассчитывал.

– Если бы ты мне предложил месяца два назад, я бы охотно согласился, – сказал он, выпрямляясь. – Да вот бриллианты меня подвели. Хлоп – и упали в цене! Ухнули мои доходы от камешков!

То была грубая, наспех придуманная ложь. После инфляции бриллианты, наоборот, поднялись в цене.

– А твои племянники из банка Леруа? – спросил Ноэль.

– Ты лучше сам с ними переговори.

Когда Люлю ушел, Ноэль подумал, довольно потирая руки: «Если все пойдет так, как я предвижу, это будет одна из лучших операций во всей моей финансовой карьере. Она влетит Моблану в несколько миллионов. А если еще и Леруа ввяжутся по глупости в эту историю...»

Он налил себе немного коньяку 1811 года и прищелкнул языком. От этого звука старик проснулся и приподнял свои красные веки.

– Все прошло, как тебе хотелось? – спросил он.

– Как по нотам, – ответил Ноэль.

«Когда я расскажу обо всем Франсуа, – подумал он, – это будет для него отличный урок! Он поймет, надеюсь, что устройство душевых для рабочих – это одно, а жизнь – совсем другое!»

Между тем Люлю Моблан шел по авеню Мессины, фальшиво насвистывая венгерский вальс и весело помахивая тростью с золотым набалдашником.

8

Высоко подняв голову с аккуратно расчесанными седыми волосами, Эмиль Лартуа читал глухим голосом свою речь при вступлении в Академию. На плотно облежавшем его фигуру зеленом мундире, сливаясь с рядом орденов, блестело новое золотое шитье. Локтем левой руки Лартуа касался эфеса своей шпаги. По обе стороны от него на довольно жестких креслах сидели его «крестные отцы»: историк Барер и маршал Жоффр.

Хотя на улице стоял ясный июньский день, под куполом Академии царил ровный полумрак, как в часовне без витражей. Одиноким солнечный луч рассекал, подобно мечу архангела, пыльную вершину купола и то касался фиолетовой рясы епископа, то скользил по желтой лысине какого-нибудь задремавшего старца.

Народу собралось довольно много, но чрезмерного скопления публики и давки, какие бывают в дни больших торжеств, не наблюдалось. Прежде всего, уже наступило время отпусков. И потом, слава имеет свои градации, не менее четкие, чем переход от неизвестности к успеху. И не на всех ее ступенях одинаково многолюдно.

Парижская публика к тому же вовсе не ждала, что во вступительном слове Эмиля Лартуа или в ответном слове добрейшего Альбера Муайо забьют фонтаны красноречия.

Достигнув известного возраста, люди, пользующиеся определенной репутацией, вынуждены отвечать тому представлению, какое о них сложилось: памфлетист должен писать памфлеты, человек учтивый – проявлять учтивость; даже фантазер, состарившись, обязан предаваться фантазиям.

Вот почему Эмиль Лартуа, помня о том положении, какое он занимал в обществе, произносил негромким голосом хорошо построенные, но в общем пустые фразы, изредка пересыпая свою речь медицинскими терминами и тут же поспешно извиняясь за это. Присутствующие, вполне удовлетворенные, вежливо посмеивались.

Жером Барер, как всегда со включенной бородой, в покрытом пятнами зеленом мундире, преспокойно чистил ногти на левой руке большим пальцем правой.

Впереди, перед самой кафедрой, у всех на виду сидел лобастый молодой человек в новенькой визитке; казалось, он был доволен своим местом не меньше, чем новый академик своим. Это был Симон Лашом, он представлял своего министра, задержавшегося на заседании комиссии палаты депутатов. Хотя смены кабинета с начала года не произошло, внутреннее перемещение позволило Анатолю Руссо в девятый раз получить портфель министра: он в чет-

вертый раз стал министром просвещения. Симон за свою верность был назначен помощником начальника канцелярии министра; он сделался лицом сугубо официальным и сменил очки в металлической оправе на очки в черепаховой оправе. О нем уже начинали говорить в Париже.

Большинство публики составляли дамы; среди присутствующих были также и неудачливые претенденты, дважды или трижды терпевшие поражение на выборах в Академию; однако они не отчаивались и именно благодаря частым своим провалам в конце концов стали чувствовать себя в Академии как дома; в зале находились также писатели, считавшиеся еще молодыми, хотя им было уже под пятьдесят; лет десять назад они уверяли, что ни за какие блага их не заманят в эту богадельню, а теперь все же приходили подышать пыльной атмосферой бессмертия, взвесить свои шансы и определить препятствия.

Все эти кандидаты – будущие и настоящие – озабоченно изучали лица академиков, силясь угадать, чье кресло освободится раньше других.

– Бедняга Лоти ужасно выглядит, вы не находите? – с лицемерным сочувствием прошептал на ухо своей соседке какой-то романист.

А тридцать с лишним знаменитостей, слушая речь своего нового коллеги, разглядывали сидевших в первых рядах людей со сравнительно молодыми физиономиями и думали: «Смотрите-ка, они осмелились прийти сюда, эти мальчишки. Мы им покажем, что взобраться на Олимп не так-то просто, как они воображают». Ибо прежде, чем уступить свое место, старики собирались поиграть в занимательную игру: пусть-ка претенденты, принадлежащие к следующему поколению, люди с седеющими висками, выстроятся в ряд и, обгоняя друг друга, подобно лошадям на скачках, устремятся через весь Париж к Академии, меж тем как сами академики будут спокойно восседать в своих креслах и любоваться этим зрелищем.

Госпожа де Ла Моннери сидела в обществе своей дочери – молодой баронессы Шудлер – и своей племянницы Изабеллы на жестких деревянных стульях внизу, посреди маленького зала, рядом со вдовой Домьера, в кругу близких друзей нового академика; вид у нее был недвольный и осуждающий, потому что Лартуа, по ее мнению, говорил слишком тихо и можно было уловить лишь обрывки его речи.

– И вот этот человек, истинный баловень судьбы, – читал Лартуа, – счастливый муж, отец, брат, любимец друзей, писатель, окруженный всеобщим восхищением, которого ежегодно осыпали почестями, был, несмотря на все это, певцом печали, так как ему открылась печальная сущность жизни. Неумолимый бег времени был для Жана де Ла Моннери постоянным источником грусти; рождение, а затем смерть всего живого оставались для него извечной загадкой. Молодость и радость обманчивы, они слишком быстротечны. Бог даровал человеку, своему созданию, лишь преходящие блага, ибо, не дав ему, вернее, отняв у него вечность, он лишил его возможности долго ими наслаждаться. Вот что характерно для мировоззрения вашего знаменитого собрата, как и для Ламартина, с которым его многое роднит. Недаром Жан де Ла Моннери недавно был назван в произведении проницательного критика поэтом четвертого поколения романтиков...

Симон Лашом почувствовал, что краснеет от удовольствия: оратор намекал на его диссертацию, так Лартуа отблагодарил его за статью-некролог. Изабелла бросила взгляд на Симона, но он этого не заметил.

– Для вашего знаменитого собрата человек – падший ангел... – продолжал Лартуа. – Но распад, по его мнению, нечто не только присущее природе человека, но и неотделимое от самого процесса жизни. С какой горечью, с какой беспощадностью поэт описывает этапы этого распада – постепенное разрушение тканей, незаметное на первый взгляд притупление чувств, полную утрату надежд. Целых пятьдесят лет Жан де Ла Моннери наблюдал на себе самом, как стареет человек.

Лартуа не спеша перевернул страницу и откашлялся.

– Но этот неотступный страх перед старостью, граничащий, если можно так выразиться, с психозом, – произнес он более отчетливо и громко, – счастье для тех, кто его испытывает, ибо он избавляет их от неотступного страха перед смертью, угнетающего столь многих.

Лартуа помолчал, ожидая гула одобрения и возгласов «Прекрасно... прекрасно...», которые должна была вызвать эта мысль, казавшаяся ему психологически необычайно тонкой.

Но зал ответил лишь грозной тишиной. Не равнодушной, а враждебной. Тишиной, не нарушаемой ни кашлем, ни шелестом одежды; тишиной, в которой каждый, казалось, мог слышать биение собственного сердца. Лартуа почувствовал, как на него устремились многочисленные недоброжелательные взгляды; даже его «крестный отец», историк с грязными ногтями, и тот сурово посмотрел на него.

А ведь при предварительном чтении в узком кругу эта мысль прошла незамеченной. Но сейчас, прочитанная нарочито громко, чтобы произвести впечатление на широкую аудиторию, фраза внезапно прозвучала совершенно необычно, странно и произвела нежелательный эффект.

Есть вещи, о которых не принято говорить или, во всяком случае, которые не принято называть своими именами; и слова о страхе смерти здесь, среди всех этих сгорбленных стариков и женщин с увядающими лицами, были восприняты как бестактность, позволительная разве лишь студенту-медику и куда более неуместная, чем непристойность.

Они и без того отлично знали, как силен был в них этот страх! Эссеист, мнивший себя последователем Вольтера, никогда не засыпал, не прочитав на ночь молитвы, заученной с детства; философ с воротником, всегда осыпанным перхотью, каждый вечер тщательно измерял температуру; Морис Баррес ночи напролет ходил по спальне в кальсонах, стараясь отогнать обуревавший его страх; драматург не расставался даже за обедом с лекарствами в пяти пузырьках. Всем им, конечно, была отлично знакома эта граничившая с психозом боязнь смерти! А поспешность, с какой они закрывали окна при малейшем сквозняке, а их испуг перед черной кошкой, перебежавшей им дорогу, перед встреченным священником или похоронными дрогами, а их желание заплакать при виде красивого пейзажа, сада Тюильри, ребенка, играющего в серсо, лодки, плывущей по Сене, муравья, что тащит былинку! В такие минуты комок подступал у них к горлу и они думали: «Скоро я ничего уже не увижу!» Зачем же надо было об этом напоминать? И особенно сейчас, когда им удалось забыть. Ибо торжественная обстановка, царившая при их появлении в зале, сознание, что они окружены почетом и завистью, что они входят в число сорока наиболее знаменитых людей страны, которую они все еще считали самой прославленной и самой цивилизованной в мире, – все это вытесняло у них на миг мысль о неизбежности смерти. Когда проходит время любовных утех, только удовлетворенное тщеславие способно дать человеку радость или, по крайней мере, развлечь его.

Нет! Никто никогда не признается в том, что страшится смерти, и эта сдержанность вовсе не есть достоинство, как кое-кто утверждает, а лишь боязнь отпугнуть тех, на чью помощь рассчитывают. Ребенок, который боится минуты, когда погасят свет, уверяет мать, будто он из любви к ней хочет, чтобы она пришла и посидела возле него; солдат, во все горло распеваящий непристойную песенку, высовываясь из вагона, просто силится заглушить тревогу, что надрыгает ему душу, как вой испорченной сирены; женщина, которая прижимается к теплому телу любовника, и старая супружеская чета, все еще продолжающая спать в одной постели, именуют свой страх любовью. Никто, никто не хочет в этом признаться из боязни остаться одиноким, словно зачумленный, ибо и мать, и любовник, и солдат – все они тоже боятся! Цивилизация, города, чувства, изящные искусства, законы и армии – все рождено страхом, и особенно высшей его формой – страхом смерти.

Таков примерно был ход мыслей всех присутствующих здесь стариков, в большинстве своем профессиональных наблюдателей природы человека. И они с трудом заставляли себя слушать продолжение речи.

И сам Лартуа, читая написанные им слова, не слышал больше, как они звучат. Молчание собравшихся вызывало в нем ту же тревогу, какую он сам в них пробудил. Он сбился дважды или трижды, потому что, читая, думал: «К чему же это? И что я, собственно, тут делаю? Зачем, зачем? А ведь я так желал попасть сюда. И вот я здесь! Какая суета! Сколько здесь больных и немощных!» Такой приступ отчаяния был совершенно необъяснимым именно теперь, когда осуществлялась его многолетняя мечта, когда он занял наконец место, к которому так страстно стремился.

Окончание его речи было встречено положенными по ритуалу аплодисментами; однако собравшиеся почувствовали подлинное облегчение лишь после того, как добрейший Альбер Муайо взобрался на кафедру и начал читать, поправляя пенсне:

– Милостивый государь! Виконт де Шатобриан, занимавший в прошлом то самое кресло, в котором мы имеем честь видеть сегодня вас, пишет в своих мемуарах: «При жизни Гиппократов, гласит надгробная надпись, в аду было мало обитателей; по милости наших современных Гиппократов там наблюдается избыток населения». Будь господин Шатобриан знаком с вами, пересмотрел ли бы он свое суждение? Что касается меня, милостивый государь, то я верю, что да...

Зал сразу оживился. Все почувствовали себя лучше. И сам Лартуа обрел привычную уверенность, услышав, как воздают хвалу его талантам.

Альбер Муайо дребезжащим голосом восхвалял необыкновенные достоинства жизнеописания знаменитого врача Лаэнека, автором которого был Лартуа; он коснулся даже его докторской диссертации о заболеваниях привратника желудка, но не стал ее подробно разбирать, а лишь оценил как «важный вклад в благородную науку врачевания».

Новоиспеченный академик холеной рукой приглаживал свою седую шевелюру.

9

Лартуа с сожалением снял шпагу и мундир. Он бы охотно не снимал их всю жизнь. Себе в утешение он подсчитал, что в среднем при десяти ежегодных церемониях ему предстоит еще надевать мундир по меньшей мере раз сто, а то и все сто пятьдесят. Его отец умер семидесяти пяти лет, мать – семидесяти девяти...

Он пригласил десяток друзей на обед в отдельный кабинет ресторана «Риц». Все они снова и снова восхищались элегантностью его мундира; надо сказать, что это обстоятельство подчеркивали в своих кратких отчетах о церемонии и вечерние газеты, где мелькали выражения: «Светло-зеленый мундир профессора Лартуа... Профессор Лартуа – истинный денди Академии...»

– Видите ли, – говорил Лартуа, усаживаясь за стол, – у меня было два выхода. Или приобрести мундир покойного коллеги...

С каким удовольствием употреблял он теперь термин «коллега», говоря о тех, кто входил в храм славы Франции, созданный еще при Ришелье!

– ...или же заказать себе новый. Носить одежду с чужого плеча не слишком приятно, особенно если умерший не близкий ваш друг. Ах! Если бы это был мундир бедняги Жана... – продолжал он, повернувшись к госпоже Этерлен, которая, как и Симон, находилась в числе приглашенных. – Правда, у нас с Жаном были разные фигуры... И тогда я сказал себе: «К черту купость! Ведь для Академии я в сущности еще юноша, закажем же себе новый мундир!»

Он говорил несколько громче, чем обычно, ибо никак не мог избавиться от ораторского тона, которым произносил свое вступительное слово.

Обед по случаю какого-нибудь счастливого события, как, впрочем, и в дни рождения и Нового года, обычно дает повод для горьких размышлений. Тот, кто получил премию в консерватории или кубок на теннисных состязаниях, кто был избран в парламент либо в Академию,

редко может провести этот вечер среди тех, кого он хочет видеть. На него всегда обрушивается поток преувеличенных любезностей; замечая вокруг чрезмерно сияющие лица, триумфатор с задумчивым видом пьет свое шампанское.

А когда он решает пригласить сразу всех: и своих родственников, и родственников жены, старых, необыкновенно обидчивых друзей, любовницу, мужа любовницы, новых приятелей, – то видит вокруг себя одни лишь каменные лица.

Для Лартуа не существовало проблемы такого рода. Всю его родню составляла сестра, старая дева, которая жила в Провене и не сочла нужным приехать в Париж. У него не было ни жены, ни детей, а смерть уже избавила его от большинства друзей молодости. Что касается любовниц, то они слишком мало значили для него в этот период, когда единственной его страстью стала Академия.

Вот почему Лартуа имел все основания просто и бездумно наслаждаться своим успехом. Все говорили только о нем, о его речи, об ответном слове; да и сам он чувствовал себя вправе ни о чем ином не говорить, кроме собственной персоны.

Жером Барер, у которого накрахмаленная манишка топорщилась под бородой, а губы лоснились от соуса, кричал:

– А знаете, что он будет делать нынче вечером после такого дня? Читать Евангелие на греческом!

– Если бы это было известно заранее, Эмиль, – подбавила фимиама жена историка, особа с лошадиным лицом, у которой при разговоре обнажались огромные бледные десны, – я уверена, вы были бы избраны в первом же туре.

Лартуа почувствовал, что его радость дала первую трещину. «Да, – подумал он, – очень скоро я возьму в руки Евангелие, потому что, читая по-гречески, я ни о чем не думаю».

Перед его глазами мелькнул черный рукав метрдотеля, разливавшего бургундское. Лартуа слышал голос Симона, небесный шепот Мари Элен Этерлен и страстные выкрики полупомешанной княгини Тоцци: несмотря на свои пятьдесят четыре года и морщинистое лицо, она столь пылко взирала на мужчин, что приводила их в смущение... Все они скоро уйдут и оставят его одного.

Его страшила минута, когда он снова окажется в одиночестве, в тишине своей квартиры на авеню Иены, отделенный плотно закрытыми дверьми от погрузившегося в сон огромного улья, населенного дружными семьями и влюбленными парочками. В обычные дни это его мало трогало; напротив, ему зачастую даже нравилось оставаться наедине с собственным отражением в зеркале. Но в этот вечер такая перспектива вдруг показалась ему невыносимой. Стекланный колпак одиночества, который опустился на него днем среди царившей в зале тягостной тишины, казалось, вновь отделил его от гостей; нервы были так напряжены после событий ушедшего дня, что тонкие кушанья и вина не могли оказать на него благотворное воздействие. «Отныне меня всегда станут сажать по правую руку хозяйки дома, мои статьи будут оплачиваться вдвойне, мое имя поместят в словаре Ларусса... И все же потом... меня забудут... и, так или иначе, сегодня вечером я буду совсем один... Постарайтесь же блеснуть...»

Он прибегнул к обычному приему стареющих острословов и разразился каскадом коротких и пряных анекдотов, жонглируя своими воспоминаниями, перемешивая гривуазное с трагическим, искусно играя словами. Сидевшие за столом говорили: «Право же, когда Лартуа в ударе, он просто неподражаем!»

– О, Эмиль! Расскажи нам историю с поездом! – воскликнула княгиня Тоцци.

– Какую историю? – спросил Лартуа, хотя прекрасно знал, о чем идет речь.

– Ну, ту самую, помнишь... В поезде ехали...

– А, да-да...

Но как бы то ни было, обед наконец окончился, на дне чашек остался черный осадок от кофе, и никто больше не хотел пить шампанское. Барер начал клевать носом. Издатель Мар-

селен ушел первым, и чета Барер воспользовалась его автомобилем. Затем удалилась еще одна пара. Когда в полночь Лартуа вышел из отеля «Риц», он оказался на улице в обществе княгини Тоцци, госпожи Этерлен, Симона и Мишеля Нейдекера, курильщика опиума, высокого сутулого человека лет сорока, с худой спиной, молчаливого и лысого, находившегося на содержании у княгини.

Луна, великолепная июньская луна освещала фасады на Вандомской площади и окрашивала в зеленый цвет бронзовую колонну.

– Не будем расходиться так рано, – сказал Лартуа. – А что, если распить последнюю бутылку на Монмартре?

– Как! Вы, член Академии, и вдруг в кабачке? – воскликнула госпожа Этерлен.

– А почему бы нет? – ответил Лартуа, смеясь. – Это и есть жизнь! Ей свойственны противоречия, моя дорогая! К черту ханжество! Вот уже два года, как я живу с постоянной оглядкой на это проклятое избрание. Отныне я снова имею право делать все, что мне нравится.

– Bravo! Поедем в «Карнавал»! – вскричала княгиня Тоцци. – Это лучший ночной кабачок в Париже!

Тогда стоявший поодаль Мишель Нейдекер, который уже несколько минут выказывал явные признаки нетерпения, заговорил впервые за последние два часа. Хриплым, гневным и тоскливым голосом наркоман выразил свое негодование и закатил княгине сцену, так как торопился домой.

– Мы пробудем там всего лишь четверть часа. Неужели ты не можешь подождать каких-нибудь четверть часа? – шептала ему княгиня Тоцци.

– Знаю я твои четверть часа, они сведут меня в могилу! Тебе нравится, когда я страдаю, – прохрипел Нейдекер, глядя в одну точку.

Но все же сел в машину.

10

Симон не часто посещал ночные рестораны. За всю свою жизнь он побывал в таких заведениях всего два раза, да и то без всякого удовольствия. Но в тот день он немало выпил за обедом, устроенным Лартуа. Длинный зал «Карнавала», где в синеватой мгле плавала пелена табачного дыма, понравился ему; он следил взглядом за танцующими парами, вмешивался в разговоры, приветливо, как старинной знакомой, улыбался княгине Тоцци, бокал за бокалом глотал ледяное игристое шампанское, и звуки музыки усиливали его блаженное состояние. «В сущности, ночные кабаки сближают людей, – думал он. – Они разрушают сословные перегородки... Чувствуешь себя свободнее...»

Он все еще немного сердился на Мари Элен Этерлен за то, что после обеда она позволила себе предаться волнующим воспоминаниям о прошлом, и за то, что она изо всех сил старалась превратить избрание Лартуа в своего рода юбилейное торжество в честь ее бывшей связи с Жаном де Ла Моннери.

Он не помнил, в какую именно минуту все, что окружало его в тот вечер, вдруг предстало перед ним в совершенно ином свете, приобрело совершенно новую окраску. Это произошло, должно быть, в тот миг, когда Люсьен Моблан, тоже сильно опьяневший, плюхнулся на стул между прославленным медиком и княгиней Тоцци. Старому холостяку не часто доводилось встречать людей своего поколения в злчных местах.

– А ты почему без треуголки? – воскликнул он, хлопнув Лартуа по плечу.

И тут же объявил о волнующем событии, которое решил немедленно отпраздновать:

– Слыхал? Твоему Шудлеру крышка! Он зарезан, оципан, выпотрошен! Через неделю на дверях его особняка на авеню Мессины будет красоваться объявление: «Продается». И люди станут говорить: «Вот оно, мщение Моблана!» О, я буду беспощаден. У них нет больше ни

гроша. Они теперь судорожно ищут несколько миллионов, чтобы спасти свои сахарные заводы. И представьте, вздумали просить денег у меня, дураки! Зарезаны, ощипаны, выпотрошены!

«Невероятно, просто невероятно! – думал Симон. – Не следует ли мне сейчас же позвонить Руссо? Где я видел этого субъекта? Ах да, на похоронах Ла Моннери».

И он машинально протягивал бокал официанту.

– Сударь, если у вас есть Соншельские акции, или акции банка Шудлеров, или еще какие-либо ценные бумаги, выпущенные этими бандитами, – неожиданно обратился Люлю к Мишелю Нейдекеру, – продайте, продайте их завтра же, послушайте моего доброго совета. Вы даже представить себе не можете, какой их ожидает крах!

Мишель Нейдекер, человек с серым морщинистым лицом и мутным взглядом, злобно посмотрел на Люлю и ничего не ответил. «Хорошо бы вlepить ему в физиономию заряд гороха, – подумал наркоман. – Эх, будь у меня сейчас духовая трубка, как в детстве...»

Люлю пригубил шампанское и жестом подозвал метрдотеля.

– Унесите прочь это пойло! – рявкнул он. – Какая мерзость! Подайте «Кордон руж», и побыстрее. Я угощаю твоих друзей, Лартуа, всех без исключения! Нынче вечером я чувствую себя королем. Ну, как твои дела? Где твоя треуголка?

– Послушайте, а вы мне нравитесь! – внезапно закричал Симон.

Госпожа Этерлен вздрогнула – так изменился его голос.

Симон протянул руку через весь стол и пожал длинные кривые пальцы Люлю Моблана.

– Вы мне тоже симпатичны, молодой человек. Во-первых, у вас большая голова, не такая, как у всех. Хотите сигару? Наконец-то я обрел друга!

– Да, да! – завопил Симон. – Мы оба *большеголовые*... И отлично столкуемся.

Его глаза за стеклами очков в черепаховой оправе блестели, волосы растрепались, шея взмокла.

– Симон, вы пьяны, – вполголоса произнесла госпожа Этерлен.

– Нет, нет, я никогда не бываю пьян, ни разу в жизни не напивался. Я просто весел. Ах, понимаю, вас удивляет, как это кто-нибудь вообще может быть весел и счастлив! Человечество не желает быть счастливым! Я пьян? Ничего подобного! Уж мне-то известно, что такое человек во хмелю, да-да, отлично известно. Все мое детство... все детство...

И Симон Лашом – с ним это случалось редко, не более чем раз в месяц – вспомнил об отце. Нет, не было ничего общего между буйным поведением этого деревенского алкоголика, часами горланившего за липким столом или слонявшегося нетвердой походкой по улицам, и тем чувством сладкого самодовольства и бездумного приятия жизни, которое владело в эту минуту его сыном. «Я культурный человек, мне дано познавать истину», – мелькнуло в голове у Симона.

Он протянул руку к ведерку с шампанским, чтобы наполнить бокал.

– Поверьте, Симон, вам лучше поехать домой.

– Да что вы, пусть себе развлекается, – слышался хищный, чуть надтреснутый голос княгини Тоцци. – Так приятно пьянеть! Ведь именно для этого мы и пьем. Люди, пугающиеся первых признаков опьянения, – презренные, жалкие, трусливые существа. Во всех наслаждениях надо идти до конца, во всех без исключения!

Она улыбалась Симону, растягивая свой огромный рот, который, по ее мнению, нравился мужчинам. Румяна и белила на ее лице расплылись и стекали по бороздкам морщин. В семь часов вечера, приняв ванну и умело наложив слой косметики, она могла еще показаться привлекательной: нетрудно было даже представить себе, что лет двадцать назад эта женщина слыла красавицей. Но сейчас, под утро, ее измятое лицо говорило о грубых страстях и неумолимых разрушениях времени.

Однако Симон видел все как бы сквозь дымку. Окружавшие его люди, за исключением одной только госпожи Этерлен, вызывали в нем какое-то удивительно теплое чувство.

– Вы тоже мне нравитесь, – обратился он к княгине Тоцци. – Вы, должно быть, знаете множество интересных вещей.

Из чувства признательности она принялась гладить его колено. В это время Люлю Моблан сказал Лартуа:

– Знаешь, в будущем она станет великой актрисой. А ведь это я ее откопал, да-да. О, она удивительно умная девочка. Кладезь добродетели и из хорошей семьи. Я привез ее сюда. Ты ее сейчас увидишь.

* * *

Сильвена Дюаль задержалась у зеркала, чтобы поправить прическу; стоя у бархатной портьеры, закрывавшей вход, она слушала Анни Фере, перечислявшую ей гостей Лартуа.

– ... А вон тот молодой, в очках, что так яростно жестикулирует, большая, говорят, шишка в Министерстве просвещения. И как им только не стыдно посещать подобные кабаки! А потом проспится и начнет обучать детей. Ты только взгляни, какие с ними женщины, размалеваны, будто вывески!

Рыжеволосая девица машинально повернула золотой браслет на руке. Она уже не походила на прежнюю крошку Дюаль, ютившуюся в глубине грязного двора на улице Фобур-Монмартр. Теперь ее называли только Сильвена Дюаль, не иначе. Люлю, как он и обещал при первой встрече, сделал ее модной актрисой. Имя Сильвены красовалось на афишах, возвещавших о премьере в одном из театров на Больших бульварах, причем роль в этой пьесе ей поручили только потому, что ее покровитель уплатил директору театра солидную сумму. Но самым удивительным было то, что у Сильвены и на самом деле обнаружился комедийный талант.

«Эта новенькая актриса благодаря своей пикантности и бесспорной молодости спасла спектакль от полного провала», – писал театральный критик газеты «Фигаро». Такого высказывания оказалось достаточно, чтобы Сильвена приобрела определенную репутацию в узком театральном мире и вызвала зависть. Ее фотография в вечернем платье была опубликована в журналах мод.

– Надо признаться, ты сумела окрутить Люлю. И влетела ему в копеечку! – сказала Анни. – Квартира на Неаполитанской улице, горничная, театр, где ты всеми командуешь! А вот я по-прежнему торчу в этом грязном кабаке. Тебе больше повезло, чем мне. Впрочем, это естественно. Но что ни говори, а старушка Анни, когда ты подыхала с голоду, оказалась для тебя доброй подружкой. Что бы ты делала без меня?

– Конечно, конечно! Я это отлично помню, – вяло отозвалась Сильвена. – Но знаешь, не будь Люлю, нашелся бы другой. Если у человека есть талант, рано или поздно он себе пробьет дорогу.

– Нахалка! – прошипела Анни Фере вслед отошедшей Сильвене.

* * *

Когда молодая актриса подошла к столику, все мужчины встали. Почти тотчас же оркестр заиграл под сурдинку, и к столу приблизился толстый венгр с торчащим вперед брюшком. В руках он держал скрипку.

– О, сколько хорошеньких женщин, сколько красоток! – воскликнул он. – Настоящий букет! Что хотели бы послушать дамы?.. Ну, в таком случае венгерский вальс, специально для вас!

Свет в зале померк, луч прожектора выхватил из темноты столик с важными гостями, смычок заскользил по струнам.

– Восхитительно! Прелестно! – бормотал Симон.

Было что-то символическое в том, что в зале кабачка, где развлекалась преимущественно парижская молодежь, в эти минуты свет падал лишь на один столик, за которым сидели главным образом люди уходящего поколения. Луч прожектора безжалостно показал, какие у них старые, изношенные лица. В ярком пятне света все эти неподвижные, застывшие фигуры походили на восковых кукол из музея Гревен. Они казались неодошевленными, а глаза их напоминали осколки потускневшего зеркала. На помятых лицах этих людей лежала не только печать усталости от утомительного в их годы ночного кутежа, на них сказывалось и внутреннее разложение.

В беспощадном свете прожектора щеки Мари Элен Этерлен вдруг стали обвисшими и дряблыми; Нейдекер, несмотря на жару в зале, то и дело зябко поеживался.

«Подумать только, ведь этот наркоман был героем! – сказал себе Лартуа, сохранивший, к своему удивлению, ясную голову и критически взиравший на окружающих. – Конечно, конечно... Все это меня уже не забавляет».

Даже Симон, которому еще не было тридцати пяти лет, уже не казался молодым: алкоголь обнажил неумолимую работу времени.

Одна лишь двадцатилетняя Сильвена была действительно молода. Желая подчеркнуть свою причастность к сцене, она приехала, не сняв театрального грима. Но если румяна не могли скрыть морщин княгини Тоцци, они не могли также скрыть молодости Сильвены.

Глубокий вырез платья открывал ее небольшую грудь. В ослепительном свете прожектора рыжая грива Сильвены пламенела. Актриса уже была испорчена до мозга костей, но на ее облике это еще не отразилось. И во взгляде Лартуа вспыхнули неподвижные металлические огоньки.

В это мгновение Симон, не рассчитав голоса, громко сказал Сильвене:

– Вы красивы, очень красивы, слишком красивы для нас! Вам и только вам принадлежит право выбрать музыку.

Скрипач, приняв величественный вид большого артиста, неожиданно перестал играть и сказал:

– Говорите, сударь, не стесняйтесь, я буду продолжать, когда вы закончите.

– Вы превосходно, великолепно играете, но, согласитесь, ведь красота, – и Симон указал на Сильвену, – тоже музыка, и не менее прекрасная, чем все творения Листа и Шопена.

– Симон! – воскликнула госпожа Этерлен.

– Чего, собственно говоря, от меня хотят? С каких это пор уже нельзя говорить того, что думаешь? Значит, искренности тоже нет места на земле! – возмутился Симон, приподнимаясь со стула. – Мы обязаны сказать ей, что она красива, пусть она это знает! А вы, вы просто ревнуете, и мне понятно почему. Ха-ха-ха! Но зато у вас есть утеха – ваши пресловутые воспоминания!

Он выкрикивал все это среди полной тишины, и ему даже нравилось, что он привлекает к себе внимание всего ресторана.

– Замолчите, Симон, прошу вас! – потребовала госпожа Этерлен.

– Ладно, ладно, молчу. Существуют вещи, которые вам недоступны. Их может понять только еще незнакомая женщина, – прибавил он, пожирая глазами Сильвену.

Щедрые чаевые умили самолюбие скрипача, и он доиграл до конца венгерский вальс.

В зале опять вспыхнул свет, официанты принесли новые бутылки, и столик, только что походивший на уголок музея Гревен, вернулся к жизни. Все громко разговаривали, перебивая друг друга.

Нейдекер рвался домой. Сильвена спрашивала Симона:

– Вы еще не видели меня в новой роли? Приходите в театр, когда захочется. Моя ложа в вашем распоряжении.

Чувствуя себя предметом вождения нескольких мужчин, она громко смеялась, поминутно встряхивала своими рыжими волосами и курила, выпуская длинные струйки дыма. У госпожи Этерлен на глаза навернулись слезы.

Люлю Моблан, с трудом ворочая языком, неожиданно спросил:

– Лартуа! Хоть ты и академик, но, быть может, еще не все позабыл? В состоянии ли мужчина в пятьдесят восемь лет произвести на свет ребенка?

– Почему бы и нет? Это возможно и в более позднем возрасте, – ответил Лартуа, не сводя взгляда с Сильвены.

Молодая актриса, повернувшись к Симону, напевала мелодию песенки, которую исполнял оркестр.

– Ты слышишь, Сильвена? – многозначительно заметил Люлю. – Сам Лартуа утверждает, что я могу стать отцом ребенка. Он даже говорит, что сейчас у меня самый подходящий возраст. Я хочу от тебя ребенка, девочка!

Сильвена бросила на прославленного медика вопросительный взгляд, а затем пронзительно рассмеялась.

– Что ты тут нашла смешного? – обиделся Люлю. – Мое желание лишь свидетельствует о настоящей любви.

– Полно, Люлю, не говори глупостей.

– Почему глупостей? Или ты хочешь сказать, что...

Он побагровел и обозлился не на шутку. Сильвена поспешила поправить дело.

– Люлю, миленький, что с тобой? Я же нисколько не сомневаюсь, что ты можешь наградить меня ребенком! – проговорила она. – Но я-то не хочу ребенка. Что я с ним стану делать? Подумай о моей артистической карьере. А кроме того, дети – это дорогое удовольствие!

Она обняла Моблана за шею и стала к нему ластиться.

– Слушай, девочка, я хочу во что бы то ни стало насолить Шудлеру!.. Мне противно слушать, как он хвастает своими внуками... Ради одного этого... – хрипел Моблан. – Если ты мне родишь ребенка, я подарю тебе миллион.

Сильвена вздрогнула и бросила на него испытующий взгляд.

– Нет, нет, я вовсе не пьян, – настаивал Люлю, – я именно так и сказал: миллион франков, иначе говоря, пятьдесят тысяч луидоров. Сразу же, в день рождения младенца, наличными.

Он призвал в свидетели сидевших за столом.

– Слушайте все! – крикнул он. – Если эта крошка родит мне ребенка, я ей дарю миллион.

Громкие возгласы и смех слились в общий гул.

– Браво!

– Когда это произойдет?

– Кто будет крестным отцом?

Люлю самодовольно выпятил грудь и смеялся, показывая длинные желтые зубы.

– Напиши все это на бумаге, – попросила Сильвена, стараясь перекричать присутствующих.

– Вот именно, на бумаге, чтобы сохранился документ для архива! – завопил Симон. – Мне нравятся такие мужчины, как вы!

Он достал из кармана листок бумаги и смотрел, как Люлю Моблан пишет обязательство по всей форме.

Глаза у Симона заволокло туманом. Лица соседей расплывались, внезапно меняли очертания. Впрочем, он обращал теперь внимание лишь на Сильвену. Симон был в том состоянии, когда у пьяного возникают навязчивые желания и дьявольские планы их осуществления. Он хотел обладать этой девчонкой немедленно, этой же ночью, а потому твердо решил оставаться в обществе Люлю и Сильвены ровно столько, сколько потребуется. Лишь два обстоятельства

могли остановить его: если он напьется в дым либо если дверь Сильвены захлопнется у него перед носом.

Сильвена спрятала листок в сумочку и, рассмеявшись неприятным, резким смехом, засунула кусочек льда за воротник Симона и взъерошила ему волосы.

Не один Симон вынашивал дьявольские планы в отношении Сильвены. Княгиня Тоцци внимательно следила за своим возлюбленным, которого была мелкая дрожь, и в каких-то темных целях старалась понять, испытывает ли он влечение к рыженькой.

Внезапно Тоцци наклонилась и что-то шепнула на ухо спутнику.

– Нет, я хочу домой, и все, – ответил он.

– Ни к чему торопиться, ведь так или иначе сегодня ночью я буду с тобой, – пробормотала княгиня Тоцци.

– Я вовсе не этого хочу, ты сама отлично знаешь!

– Невежа! Ты мне за все заплатишь.

– А я тебя брошу, слышишь? Сегодня же брошу! Не желаю больше сносить рабство!

За соседним столиком сидела Анни Фере; она наблюдала за Сильвеной и думала: «Если б она осталась одна, я увела бы ее к себе, эту потаскушку! О, она еще когда-нибудь придет ко мне...»

Что касается Лартуа, то он, следуя своей привычной тактике, прикидывал, как устроить, чтобы на обратном пути остаться вдвоем с Сильвеной и проводить ее домой. «Впрочем, нет, ничего не получится, парочки уже составились. Отвратительный вечер, пустая трата времени!..»

Он знал, что через три дня найдет упоминание о себе в «Кри де Пари», и думал: «Глупо, ах как глупо было приезжать сюда. Я чувствую себя еще более одиноким, чем раньше». Окружавшие его люди, наполовину или совсем утерявшие способность мыслить и рассуждать здраво, бормотали что-то невнятное, смеялись, кричали, спорили и все же – вопреки всем законам логики – понимали друг друга. Но его никто не понимал.

Сильвена и Симон с такой силой чокнулись, что бокал в руках Лашома разлетелся вдребезги. Пальцы его окрасились кровью, но он даже не обратил на это внимания. Чтобы не остаться в долгу, Сильвена разбила свой бокал о край стола. Официант с салфеткой в руке, согнувшись, подобрал осколки и вытер лужицу шампанского.

– Господин Нейдекер и я хотели бы вернуться домой, – проговорила Мари Элен Этерлен плачущим голосом.

– То есть как это вернуться? Жизнь только начинается! – воскликнул Симон. – А впрочем, поезжайте, поезжайте! В сущности, так будет лучше. Меня мучит жажда, страшная жажда!

– Да, пожалуй, пора уходить, – сказал Лартуа, поднимаясь.

Он подозвал метрдотеля, но тут вмешался Люлю.

– Нет, нет, за все плачу я, – заявил он. – Никогда в жизни не прощу тебе, что ты, академик, явился сюда без треугольной шляпы.

Пробираясь к выходу, Симон то и дело задевал за столики; это сильно удивляло его – в полумраке ему на каждом шагу чудились широкие проходы. Он и Люлю только что решили перейти на «ты».

– Я тебя больше не покину, – повторял Симон, взяв Моблана под руку, – наконец-то я отыскал настоящего человека! Нет, я тебя больше не покину!

– А я тебя уверяю, у нее от меня будет ребенок, – твердил в ответ Люлю, обнимая Сильвену за талию.

– Чудесно! Я буду свидетелем, да-да, буду свидетелем.

Вдоль тротуара выстроилась вереница такси.

Ни с кем не простившись, Нейдекер забрался в первую же машину, втащив за собой Ирэн Тоцци. Не успел автомобиль тронуться, как оттуда послышалась перебранка.

Ни на шаг не отставая от Люлю и Сильвены, Симон охрипшим голосом доказывал, что отныне у него нет ни иного дома, ни иных друзей, и упорно порывался сесть с ними в одну машину.

– Симон, прошу вас! Если бы вы только могли взглянуть на себя со стороны, вы бы ужаснулись! – укоризненно оказала госпожа Этерлен.

– Не беспокойтесь, мы его потом проводим, – проговорила актриса, вцепившись в Симона.

Видя, какой оборот принимает дело, Лартуа решил использовать удобным случаем и сказал госпоже Этерлен:

– Пойдемте, пойдемте, Мари Элен, я провожу вас.

– Но нельзя же его оставлять в таком состоянии!

– Можно, можно, ничего с ним не случится. Когда человек пьян, самое лучшее – ему не перечить, уж поверьте моему опыту.

И он заставил ее сесть в такси.

Симон не заметил, сколько времени ушло на дорогу. Голова Сильвены лежала на груди у Люлю, но, пользуясь темнотой, она просунула руку под расстегнувшуюся манишку Симона и теребила волосы на его груди.

Симон очутился в незнакомой квартире, где так ничего и не успел разглядеть: кто-то протянул ему крутое яйцо, и он с удовольствием съел его. Потом растянулся в мягком кресле; перед глазами у него мелькали золотые искры, белые стены стремительно вертелись.

До него донесся женский голос:

– Люлю, мой милый, мой обожаемый Люлю, теперь-то уж я непременно забеременею.

Немного погодя задремавший Симон почувствовал, что его тянут за руку, и тот же голос прошептал:

– Пойдем, он спит. Он еще пьянее тебя.

Симон разглядел Сильвену: она стояла возле него с обнаженной грудью и настойчиво увлекала в соседнюю комнату; там она уложила Симона на диван и помогла раздеться.

При этом Сильвена торопливо шептала:

– Если у него возникнут сомнения, я скажу, что ты был тут и все видел. А ты подтвердишь, ладно? Надо, чтобы он обязательно поверил.

Он только прорычал в ответ.

И вдруг укусил ее в плечо, затем в грудь. Потом ему показалось, что и сам он, и все вокруг рухнуло в огненную бездну.

Острые ногти впились ему в поясницу, и до него донеслось:

– Не уходи!

Затем все сковал сон.

11

Такси приближалось к площади Этуаль.

– Симон меня очень огорчил нынче вечером, – проговорила госпожа Этерлен. – Он был невероятно груб и словно умышленно компрометировал меня! Это глупо, я знаю, но мне хочется плакать. Вы уверены, что с ним ничего не случится?

– Да нет же, нет, дорогая, – уговаривал ее Лартуа. – Успокойтесь. Все это пустяки! Симон очень мил.

– Уж не знаю! Подумать только, он буквально повис на шее у этой девицы!.. Видно, я старею, не правда ли?

– Ну что вы, Мари Элен, как вы можете так говорить? У вас удивительно свежее личико, клянусь, я любовался вами весь вечер.

– Вы очень добры, Эмиль. Но я чувствую, мне надо порвать с Симоном. Я так привязалась к нему, что жизнь моя грозит превратиться в ад.

Из боковой улицы выехала встречная машина, шофер такси резко затормозил. Госпожа Этерлен вскрикнула и неожиданно очутилась в объятиях Лартуа. Он бережно усадил ее на место, обняв при этом за плечи.

– Слов нет, у молодости есть свои хорошие стороны, но немало и дурных, – начал он. – Пожалуй, вам лучше бы иметь рядом с собой человека более положительного, более солидного... А потом, мне думается, вы ведете в последнее время слишком замкнутый образ жизни. Надо больше выходить, чаще встречаться с людьми, возобновить светские связи.

Говоря это, он пытался ее поцеловать.

– Нет, нет, Эмиль, прошу вас, – запротестовала она, отталкивая Лартуа. – Мне нездоровится, у меня голова болит.

– Не хотите ли на минутку заехать ко мне? Я дам вам таблетку.

– Нет, благодарю, я хочу поскорее вернуться домой.

Они помолчали. Автомобиль катился по аллее Булонского леса. Лартуа перешел к прямой атаке.

– Нет, друг мой, прошу вас. Вам вовсе не обязательно поддерживать свой мужской престиж, – произнесла госпожа Этерлен. – Мне очень лестно, что вы заинтересовались мною, пусть даже на один вечер. Но давайте этим и ограничимся.

– Почему на один вечер, Мари Элен! Я уже давно мечтаю о вас... Давно стремлюсь к вам.

– Полноте, полноте, зачем говорить то, чего вы вовсе не думаете, – ответила она, легонько ударив его руке. – Ведь мы с вами старые друзья, и незачем было ждать сегодняшнего дня... Просто вы, как всегда, учтивы.

Снова наступило молчание, затем шофер услышал:

– Нет, Эмиль...

Через несколько мгновений снова раздался негодующий женский голос:

– Да перестаньте, Эмиль! Не то я остановлю такси!.. Ведь я же сказала вам – нет!

Она открыла боковое стекло, и в машину ворвался свежий воздух. Госпожа Этерлен забила в угол и приготовилась к отпору.

– Нет, вы просто невыносимы, – сказала она. – Повторяю, у меня болит голова, мне не до этого. Да и за кого вы меня принимаете? За женщину, которая уступает через три минуты и отдается в такси? Право, вы либо слишком высоко цените свое внимание, либо, напротив, ни во что его не ставите! Полно, успокойтесь!

Он переменял тактику и, пока они ехали по Булонскому мосту, говорил ей о своем большом чувстве, которое будто бы долго скрывал, о желании обрести прочную привязанность, о поисках настоящей любви. Все, о чем он рассказывал, было в какой-то степени правдой; неправда заключалась только в том, что он адресовал все эти излияния госпоже Этерлен.

Автомобиль остановился на улице Тиссандр.

Лартуа вышел и проводил свою спутницу до садовой калитки.

– Мне хотелось бы еще немного побеседовать с вами, – произнес он.

– Нет-нет, повторяю...

– Вас даже не трогает, что сегодня день моего избрания в Академию? И вы хотите оставить меня одного...

Он сказал это таким тоном, что она невольно была растрогана. Но у нее и в самом деле сильно болела голова.

– Приходите в любой вечер, и мы побеседуем. Но сейчас я бесконечно устала и, чего доброго, еще поверю вам. Еще раз благодарю за чудесный обед.

И она захлопнула калитку.

«Я просто болван, – говорил себе Лартуа на обратном пути, – законченный болван. Теперь мне придется послать ей завтра цветы, и она вообразит, что я и впрямь в нее влюблен. И кто только тянул меня за язык! А сейчас...»

Доехав до авеню Иены, он расплатился с шофером и с минуту неподвижно стоял на тротуаре, не решаясь вернуться домой. Затем взглянул на часы: было четыре утра. На небе занималась бледная заря, угрожая затмить свет звезд. Воздух был свежий, бодрящий, звуки, изредка нарушавшие тишину, казалось, звенели, точно хрусталь. Призрачная предрассветная дымка окутывала город. Лартуа еще чувствовал легкое опьянение, спать ему не хотелось, и он с отвращением думал о своей пустой квартире, о том, как час или два он будет шагать из угла в угол, размышляя, чего может он еще ожидать от жизни.

«Я достиг всего, к чему стремился, добился всего, чего желал; тысячи писателей, тысячи медиков завидовали мне сегодня, и все же я несчастен... Все дело в том, что я чувствую себя не по годам молодым. Вот источник драмы. Что сейчас предпринять?.. И подумать только, ведь в этом городе есть сотни молодых, красивых и одиноких женщин, которые были бы рады, окажись они этой ночью в объятиях мужчины! Но, увы, я их не знаю! Впрочем, сейчас они уже спят, все уже спят!»

Обуреваемый своими мыслями, он зашагал по направлению к Елисейским Полям и глядел по сторонам – не попадет ли ему навстречу одинокая женщина. Улица была пустынна. Он поравнялся с юной парочкой; влюбленные шли быстро, тесно прижавшись друг к другу. Какой-то пьяница брел, пошатываясь и хватаясь за стену. Тряпичник рылся палкой с крюком в мусорном ящике. Впереди Лартуа появилась женщина, должно быть проститутка. Сердце его забило чуть быстрее, он ускорил шаг, чтобы догнать ее. Какое, в конце концов, имеет значение, что это уличная фея? Чем она, собственно, отличается от всякой другой? А потом, ее можно обо всем расспрашивать. Но незнакомка свернула на улицу Колизея и исчезла в воротах. В этот час даже проститутки возвращались домой. Лартуа продолжал идти, надеясь на новую встречу. Так он дошел до площади Согласия, никого не увидев по пути, кроме другой парочки, которая, обнявшись, сидела скамье.

И тут его глазам предстала площадь: горели сотни фонарей, били фонтаны, отливая бледно-сиреневым светом, возвышались фасады отеля «Крийон» и здания Морского министерства; а дальше, за мостом, возникала темная громада Бурбонского дворца... Казалось, он был воздвигнут не из камня, а из бронзы и строили его не простые люди, а подручные Юпитера.

– Красивейший город в мире, – прошептал Лартуа.

Мимо, громко дребезжа, проехало пустое такси. Он окликнул шофера:

– В детскую больницу!

Сонный врач-ординатор решил, что его разбудили из-за очередного несчастного случая – в ту ночь они следовали один за другим; каково же было его удивление, когда он увидел перед собой самого профессора, приехавшего в больницу в пять часов утра, да еще в смокинге.

– Как себя чувствует маленький Корволь? – осведомился Лартуа.

– С девяти часов вечера в коматозном состоянии, патрон.

– Я этого опасался. Хотел заехать в конце дня, но не мог. Церемония в Академии затянулась дольше, чем я предполагал, потом обед. Друзья так и не отпустили меня, до глубокой ночи сидели.

Он снял смокинг, вымыл руки и надел белый халат. Лицо у него было утомленное, но взгляд ясный, а речь краткая и точная.

– Пройдем к нему, – сказал Лартуа. – Кстати, еще три дня назад я говорил вам, что этого ребенка не спасти.

Профессор и ординатор углубились в пропахшие эфиром и формалином длинные коридоры, освещенные ночниками.

Дежурная сестра присоединилась к ним.

Лартуа толкнул стеклянную дверь и вошел в небольшую белую палату.

На кровати лежал мальчик лет девяти с синюшным лицом и прилипшими ко лбу влажными волосами; закинув голову, он едва слышно хрипел. На самой середине лба у него была родинка.

Лартуа пощупал пульс ребенка, поднял его веко и увидел закатившийся глаз; он потянул книзу простыню, и его взору предстало исхудалое, высохшее тельце; кожа маленького страдальца стала твердой, как жесь, мускулы одеревенели.

– Когда в последний раз вводили физиологический раствор? – спросил Лартуа.

– В шесть часов, профессор, – отозвалась сестра.

– Так... Надо будет ввести снова. А потом приготовьте все для укола в сердечную мышцу. Это может понадобиться каждую минуту.

– Вы надеетесь, патрон... – начал ординатор.

– Я ни на что не надеюсь, – отрезал Лартуа. – Я даже уверен, что укол ничего не даст. Но нужно бороться, мой друг, нужно всегда бороться, даже после наступления смерти.

Сестра повесила баллон с физиологическим раствором и глюкозой на крюк металлической стойки, отыскала на маленькой посиневшей ноге место, еще не исколотое при вливаниях, и теперь следила за тем, чтобы раствор медленно, капля по капле, вытекал из резиновой трубки.

– Если только его организм еще способен усваивать... – задумчиво произнес Лартуа.

Умиравший ребенок по-прежнему лежал неподвижно, ни на что не реагируя; глаза его закатились.

– Я видел фотографии в вечерних газетах, – сказал врач. – Церемония вашего приема в Академию была великолепна.

– Да, все прошло очень хорошо, без преувеличения хорошо. Зал был переполнен, публика настроена восторженно... Быть может, в один прекрасный день и вы испытаете все это, Моран.

– О нет! Я не обольщаюсь, мне никогда не дожидаться подобного триумфа, – ответил ординатор, застенчиво улыбаясь.

Они с минуту помолчали, наблюдая за мальчиком. Физиологический раствор больше не вытекал из трубки. Лартуа легонько тронул иглу, вонзившуюся в кожу. Сильный отек указывал на скопление жидкости.

– Ступайте отдыхать, Моран, и вы тоже, мадемуазель Пейе, – сказал Лартуа. – Нам нечего тут делать втроем.

– Позвольте мне остаться, профессор, – попросила сестра.

– Нет, я сам буду следить за развитием событий. Если только можно назвать это развитием... Мне и вправду никто не нужен, я сам введу адреналин в сердечную мышцу. Поверьте, я прекрасно справлюсь один.

И Лартуа остался возле умирающего ребенка; он не отрывал глаз от маленькой родинки, этой капли янтаря на муаровом лбу. Он не надеялся узнать что-либо новое о туберкулезном менингите, ничего сверх того, что уже было ему хорошо известно. Но этот прославленный клиницист, который из эгоизма не имел ни семьи, ни детей, до сих пор неизменно испытывал жалость при виде агонизирующего ребенка, хотя уже давно ничего не чувствовал, присутствуя при смерти взрослых. Именно это и было дорого Лартуа в его профессии: ощущение того, что в нем еще теплится чувство жалости к людям, что зеркало его души еще не все потускнело и способно отражать нечто, не имеющее непосредственного отношения к его собственной особе. «Бедный малыш, ему больше не суждено увидеть восход солнца!»

Внезапно мальчик зашевелился, забился, застонал, по его телу прошла судорога, он весь задергался, как повешенный. Теперь глаза его совсем закатились, колени со стуком ударялись друг о друга, кожа приобрела фиолетовый оттенок, на губах выступила пена.

Он сбросил с себя простыню, и резиновая трубка с металлическим наконечником медленно раскачивалась из стороны в сторону. Лартуа закрыл небольшой кран в нижней части баллона, затем подошел к кровати и сжал плечи маленького мученика, который больше ничего не видел, ничего не слышал и, быть может, уже не чувствовал страданий; предсмертные конвульсии ребенка были, по всей вероятности, лишь последней реакцией нервов и мускулов, безнадёжной попыткой высвободиться из-под пяты злобного людоеда, душившего его.

– Успокойся, малыш, успокойся, – прошептал Лартуа, невольно забывая, что больной уже не может его слышать.

Приступ проходил. Профессор легонько гладил ребенка по лбу, пальцы его скользили по маленькому янтарному пятнышку. Тело мальчика снова сделалось неподвижным. Пульс все учащался и едва прощупывался, теперь его уже трудно было сосчитать; могло показаться, что по артериям пробегает слабый электрический ток. Вставив резиновые трубки стетоскопа в уши, Лартуа внимательно выслушивал сердце, и то, что он слышал, было ужасно: в этой мышце величиной с кулак вот-вот должно было угаснуть таинственное будущее. В то самое мгновение, когда звук в стетоскопе умолк и по телу ребенка прошла чуть заметная дрожь, Лартуа обнажил его худенькую грудь, схватил длинную стальную иглу, лежавшую на подносе, и с быстротой и точностью, которые были поразительны в шестидесятилетнем человеке, уже почти сутки находившемся на ногах, уверенным движением воткнул ее меж ребер с такой силой, что игла коснулась сердечной мышцы мальчика. Затем он нажал большим пальцем на поршень шприца и, выпустив из него адреналин, вытащил ловким движением иглу, взглянул на острие, снова схватил стетоскоп и стал слушать. Прошло несколько мгновений, врач поднял печальные глаза к окну, еще закрытому ставнями, сквозь которые пробивались первые лучи солнца, и накрыл простыней маленький труп.

Когда Лартуа вышел из больницы, было уже утро. На специальные машины грузили мусорные ящики; рабочие, спешившие на работу, с усмешкой поглядывали на Лартуа, принимая его за старого гуляку. И они ошибались лишь наполовину.

В то утро многие, развертывая газеты, задавали себе вопрос, за какие такие заслуги господин Эмиль Лартуа был избран в члены Французской академии. И лишь немногие знали, что этой высокой чести был удостоен – только ли за свои труды? – человек действительно недюжинный, который был способен и читать Евангелие на греческом языке, и соблазнять женщин в автомобиле, и проводить время в кабаках, и появляться под утро в больнице, чтобы попытаться спасти умирающего ребенка.

12

События развивались именно так, как предвидел Ноэль Шудлер. Через два дня после его разговора с Люсьеном Мобланом большое количество акций Соншельских сахарных заводов было выброшено на рынок. Эти акции пользовались прочной репутацией, и потому их курс при открытии биржи не поколебался. Но так как с каждым часом акций предлагали все больше и больше, они начали падать в цене. К двум часам дня их курс упал на шестьдесят пунктов. Альберик Канэ, биржевой маклер Шудлера, несколько раз звонил по телефону банкиру, но неизменно слышал в ответ:

– Пусть падают! После закрытия биржи приезжайте ко мне в банк.

Франсуа, предупрежденный о биржевой панике, также пытался встретиться с отцом, но тщетно. Ноэль разрешил сыну прийти лишь к концу дня, после того как долго просидел, запершись в кабинете со своим маклером и еще каким-то биржевым дельцом.

– Ну, что ты по этому поводу думаешь? – спросил он Франсуа.

– Знаешь, папа, я ничего не могу понять... Что происходит?

– Что происходит... Что происходит... – проворчал великан. – Просто-напросто все разошлось, в какое положение ты нас поставил своей затеей с Соншельскими заводами! Вот люди осторожные и стараются избавиться от этих акций. Банк Леруа, например, выбросил сегодня на биржу огромный пакет. И это не все. Ты еще увидишь, ты еще убедишься в последствиях своего упрямства.

Он бросил на сына злобный взгляд, и тот опустил глаза.

На следующий день все сделки с Соншельскими акциями были окружены таинственностью. Спекулянты, нюхом чужавшие, что тут не обошлось без какой-то аферы, покупали их, но предложение превышало спрос. Многие солидные дельцы, сбитые с толку разнесшимися слухами, приказывали продавать акции. Маклер банка Леруа без устали вел наступление. В тот день Соншельские акции упали еще на сто пунктов. Это привело к тому, что и другие фонды фирмы Шудлеров – ценные бумаги банка и акции рудников Зоа – также пошатнулись. Словом, на бирже наблюдалась общая тенденция к понижению.

После полудня Ноэлю Шудлеру позвонил по телефону Анатолий Руссо и сообщил банкиру, что в политических кругах царит тревога.

– Успокойте своих друзей, дорогой министр, успокойте их, – ответил Ноэль. – И не верьте досужим рассказам. Мой сын Франсуа, желая увеличить основной капитал, допустил небольшой промах. Кое-кто об этом прослышал, и, как всегда, дело раздули. Недоброжелатели будут разочарованы. Наше положение весьма прочное, и Ноэль Шудлер на посту. Так что не тревожьтесь. Хотите доказательств? Завтра к концу дня я приобрету для вас двести Соншельских акций. Если их курс упадет, я беру акции себе. Если поднимется, оставлю их за вами.

Он произнес это дружеским тоном, каким обычно говорят на скачках: «Я ставлю за вас пятьдесят луидоров на Джинджер Бой».

– Да, кстати, дорогой министр, – продолжал Шудлер, – я уже много лет офицер ордена Почетного легиона. Как по-вашему, не пора ли мне подумать о командорской ленте? В свете того, что происходит, сами понимаете... Вы уверены? Да-да, и впрямь награждать одновременно отца и сына неудобно... Ну что ж! С крестом для Франсуа можно повременить. Он еще молод и может подождать.

«Что это, блеф?» – спросил себя Руссо, вешая трубку.

Готовясь к худшему, он перебрал в памяти все неосторожные поступки, какие можно было поставить ему в вину, и заранее подготовил план защиты.

Поведение Ноэля Шудлера могло означать что угодно: либо то было подлинное спокойствие уверенного в себе человека, либо притворство дельца, стремящегося скрыть тревогу.

Как говорил Альберик Канэ, единственный человек, с которым великан делился в те дни своими планами, «никогда нельзя знать, какие замыслы вынашивает эта загадочная личность».

Надо сказать, что и сам Ноэль уже потерял ясное представление, где кончалась правда и начиналась ложь, где еще действовали его тайные происки и где уже проявляло себя реальное соотношение сил; он теперь путал карты, чего никогда не позволил бы себе лет двадцать назад.

Одно было бесспорно: события пока что развивались согласно его воле. На следующий день (он уже отдал соответствующие распоряжения) биржевой маклер любой ценой будет препятствовать падению курса ценных бумаг банка Шудлеров и акций рудников Зоа, не мешая при этом дальнейшему снижению курса Соншельских акций. И только перед самым закрытием биржи или даже через день, когда эти акции упадут еще ниже, он, Шудлер, скупит их все целиком, приведя в движение огромные финансовые резервы, о наличии которых никто и не подозревал. В этом заключительном маневре и состоял весь смысл операции. В отличие от разоряющихся дельцов, которые изо всех сил афишируют свое мнимое благополучие, Шудлер, прочно стоявший на ногах, намеренно способствовал распространению слухов о своих денеж-

ных затруднениях. И в этом деле ему как нельзя лучше должен был помочь слепо ненавидевший его враг – Моблан. Не пройдет недели – и курс Соншельских акций достигнет прежнего уровня. Но тогда в руках у Шудлера будет контрольный пакет уже не в двенадцать, а в шестнадцать-семнадцать процентов, и он добьется нужного ему увеличения основного капитала, причем все расходы понесут практически Моблан и Леруа.

В то же время он, Ноэль, теперь неоспоримо докажет несостоятельность планов Франсуа, и тому придется на ближайшем же заседании правления акционерного общества подать в отставку. Слава спасителя сахарных заводов будет целиком принадлежать ему, Ноэлю Шудлеру, и он снова все приберет к рукам.

«Как я все-таки предусмотрительно поступил, сохранив резервы на черный день! Хороши бы мы были, последуй я советам Франсуа! – подумал Ноэль, позабыв на минуту, что он и только он затеял всю эту аферу, вызвавшую панику на бирже. – Фантазии этого мальчишки состарят меня лет на десять!» И Ноэль схватился за сердце.

Ноэль Шудлер все предвидел, за исключением одного – решения его сына обратиться к Люсьену Моблану.

Франсуа уже много месяцев без устали добивался осуществления своих планов. До сих пор он не ощущал усталости. Теперь она разом навалилась на него. За несколько дней он перешел от душевного подъема к глубокой депрессии. Отцу незачем было убеждать его в том, что он, Франсуа, повинен во всем случившемся. Впрочем, они почти не говорили друг с другом; видя озабоченность сына, Ноэль думал: «Пусть, пусть поволнуется, это ему только на пользу». Франсуа мрачно молчал, черты его лица заострились, как бы окаменели, он не замечал окружающих. Он навел справки и узнал, что биржевой бум затеял «этот импотент Моблан», до Франсуа дошли и панические слухи, распространявшиеся среди дельцов.

Молодой человек верил в спасительность искренних и откровенных объяснений.

«Я должен что-либо предпринять, – лихорадочно думал он. – Отец, кажется, не понимает, в какое трагическое положение мы попали. Он стареет, в нем уже нет былой энергии...»

Люсьен Моблан назначил свидание Франсуа в своем клубе на бульваре Осман – ему хотелось, чтобы несколько десятков известных в обществе людей собственными глазами видели: сын Шудлера явился к нему на поклон!

Люлю не скрывал от Франсуа своего циничного, почти непристойного торжества. Он был настолько уверен в успехе, что даже не скрывал своих намерений. Ведь Моблан тоже пустил в ход тщательно отрегулированную машину разрушения, которая должна была уничтожить все на своем пути.

Держа в зубах сигарету и разглядывая бесцветными глазами английскую гравюру, он цедил:

– Вам крышка, конец, вы разорены! Это как дважды два – четыре! Вам не спасти Соншельские заводы, а ведь от них зависит и все остальное. Продадите акции рудников? Отлично. Но посмотрим, сколько они будут стоить завтра! Я добьюсь того, что их цена упадет ниже номинальной, да-да, куда ниже! И вы поступите всем, вам придется пойти на это, чтобы спасти банк. Однако вы и банк не спасете, я вам сейчас разъясню почему... Хотите портвейна?

– Нет, благодарю, – отказался Франсуа.

Перед его глазами уже возник призрак катастрофы. Он пришел сюда для откровенного разговора, но не ожидал такого цинизма.

– Вкладчики востребуют у вас свои деньги, и это вас доконает, – торжествовал Моблан. – Утечка вкладов парализует ваше сопротивление. Вы не просто разоритесь, вы будете сверх того опозорены. Вам придется объявить себя банкротами. Знаете, когда начинается финансовый крах, события развиваются с головокружительной быстротой.

До этой минуты Франсуа еще не думал, что последствия могут быть столь пагубными; теперь же, после слов Моблана, такой исход казался ему неизбежным.

– Но чего вы добиваетесь? – воскликнул он. – Вы же сами терпите убытки! Чего вы хотите? Соншельские акции?

И от имени отца он пообещал уступить Моблану контрольный пакет акций сахарных заводов, если тот согласится предотвратить катастрофу и позволит Шудлерам сохранить остальные ценности.

– Плевать я хотел на Соншельские акции! – прорычал Моблан. – Тридцать пять лет назад ваш отец отнял у меня жену. Вы могли быть моим сыном, понимаете? Мало того, он распространял обо мне отвратительные слухи, так что на меня всю жизнь пальцем показывали, он не упускал случая делать мне пакости. Он причинил мне ущерб в несколько миллионов, ваш папаша! И вы хотите, чтобы я обо всем этом забыл?

– Но ведь речь идет не только о моем отце. Я-то вам не сделал ничего дурного! И потом не забываете: моя жена – ваша родственница...

– Если бы она помнила о нашем родстве, то ни за что не вышла бы замуж за человека из рода Шудлеров. К тому же семейство Ла Моннери также не вызывает во мне нежных чувств.

Франсуа побледнел от бессильной ярости. Уже ни на что не рассчитывая, но помня, что имена детей, как талисман, всегда приносили ему счастье, Франсуа заговорил о Жан-Ноэле и Мари-Анж. У Люлю Моблана вырвался довольный смешок.

– Можете передать своему папеньке, что я тоже жду ребенка, – произнес он. – Так что я не могу себе отныне позволить заниматься благотворительностью.

Заметив удивленный взгляд Франсуа, он прибавил:

– Это вас поражает, не так ли? Ведь вы тоже, конечно, верили рассказам, которые в ходу среди ваших родных! Знайте же: Шудлеры, пока они живы, не могут вызвать у меня сочувствие!

Франсуа вышел из клуба с головной болью; он ощущал холод в груди. Он все испробовал, все пустил в ход – посулы, уговоры, мольбы. И не сумел добиться даже отсрочки на несколько дней. Завтра по воле этого упрямого и мстительного человека, который держал в своих влажных ладонях судьбу заводов, рудников, банка, всего состояния Шудлеров, разразится катастрофа. Моблан произнес ужасное слово «крах» и прибавил:

– Я дождусь минуты, когда вы обанкротитесь, и отберу у вас все до сантима.

«И это по моей вине, – терзался Франсуа. – За все отвечаю один я!»

Он даже не вспомнил о том, что пора возвращаться домой, на авеню Мессины, и продолжал бродить по улицам, словно ища выход из невидимой другим людям стеклянной клетки, где он в одиночку боролся со своей бедой.

13

А в это время в большом саду, окружавшем особняк Шудлеров, несколько ребятишек, пришедших в гости к Жан-Ноэлю и Мари-Анж, обсуждали, в какую бы им игру поиграть. Они только что встали из-за стола: на губах у них еще виднелись следы шоколадного мусса, а розовые платяца и матросские костюмчики были усыпаны крошками бисквита. Желудки отяжелели от сладкого, и детишек слегка клонило ко сну.

Гувернантки, устроившись в тени, вязали.

Худенький Рауль Сандоваль с оттопыренными ушами по привычке шмыгал носом; он по пятам следовал за Мари-Анж с видом отвергнутого жениха.

– Давайте играть в шарады, – твердил он, глядя на девочку умоляющими глазами.

Жан-Ноэль подпрыгнул на месте, он придумал: лучше всего играть в благотворительность. Он тут же объяснил, в чем будет состоять эта игра. Кузина Мари-Анж – Сандрина, носившая во рту металлический обруч, который должен был сдвинуть ее широко расставлен-

ные зубы, заявила, сюсюкая, что не видит ничего забавного в том, чтобы играть в раздачу милостыни.

– Ну, тогда давайте поиграем в свадьбу, – предложил Рауль Сандоваль, который месяц назад нес шлейф подвенечного платья своей сестры. – Или будем плести венки из листьев каштана.

И он обвил рукой шею Мари-Анж.

– Не лезь к моей сестре! – крикнул Жан-Ноэль, изо всех сил оттолкнув мальчика.

Мари-Анж приняла решение: они будут играть в похороны; это тоже происходит в церкви, но зато куда интереснее! Раулю Сандовалю пришлось растянуться на каменной скамье; его накрыли тяжелой скатертью и запретили шевелиться. Он задыхался под плотным покровом, от съеденного в избытке шоколада его мутило; бедняга слышал, как другие дети суетятся вокруг него, но видеть их не мог, не мог он также произнести ни слова – ведь ему полагалось изображать взаправдашнего покойника. Интересно, огорчилась бы Мари-Анж, умри он на самом деле? И крупные слезы катились по его щекам.

Между тем Мари-Анж развила бурную деятельность, она распределяла между детьми различные роли, изображала церковного швейцарца, священника, вдову – всех подряд. Девочка размахивала воображаемым кадиллом, затем вооружалась кропилом, передавала его Сандрине, а та в свою очередь вручала его Жан-Ноэлю.

И внезапно кто-то изо всех сил огрел «усопшего» по лбу; несчастный стукнулся затылком о камень и тотчас же с воплем завертелся под саваном.

Это Жан-Ноэль якобы нечаянно с размаху стукнул кулаком по импровизированному катафалку.

На крик сбежались гувернантки, они освободили Рауля от скатерти и строго-настрого запретили детям играть в похороны.

– Disgraceful!.. It's a shame!..¹⁹ – взвизгнула мисс Мэйбл.

Пора было возвращаться домой; гувернантки расправили банты в волосах у девочек, разгладили воротники на курточках мальчуганов. В небольшой гостиной матери заканчивали партию в бридж; дети слышали, как чей-то голос негромко произнес:

– На этот раз ваша карта бита, Жаклина, похоронили мы вашего короля!

И малыши лишний раз убедились, что взрослые просто придираются к ним.

* * *

В то время как дети лениво плелись к дому со своими гувернантками, крепко державшими их за руки, отец Жан-Ноэля и Мари-Анж продолжал бесцельно бродить по пыльным улицам, не слыша автомобильных гудков и не замечая толчеи на перекрестках.

«Так я скорее придумаю выход, я должен его придумать, – твердил он себе. – Сегодня вечером и завтра утром необходимо все уладить. Другие банки непременно помогут нам. Ведь они обязаны поддерживать друг друга. К тому же отец – управляющий Французским банком, они не допустят его банкротства. И все-таки... Никто ведь не предотвратил банкротства Бутеми, никто даже пальцем не пошевелил...»

В детстве он не раз слышал эту историю о крахе Международного банка, дед рассказывал ее чуть ли не каждую неделю. «А ведь наш банк во много раз слабее. И что мы вообще значим для Франции? Еще одна семья разорится, и только».

Перед мысленным взором Франсуа на стене воображаемой стеклянной клетки с назойливостью кошмара то и дело возникали строчки: «Вчерашний курс... Сегодняшний курс... Соншельские заводы...» Эти строки, казалось, были набраны жирным убогим шрифтом,

¹⁹ Безобразие!.. Как вам не стыдно!.. (англ.)

похожим на шрифт биржевого бюллетеня. Каков будет завтра курс этих акций? Да и будут ли они вообще котироваться на бирже? Ведь завтра люди начнут забирать свои вклады из банка...

По ту сторону стеклянной клетки продолжалась далекая, чуждая жизнь: молоденькая модистка спешила куда-то, прижимая к себе картонку с платьем; рабочий свертывал сигарету; скучающая чета стояла перед витриной цветочного магазина; рассыльный быстро крутил педали, его трехколесный велосипед с фургончиком, полным товара, зигзагами подымался по улице, шедшей в гору...

Перед стеклянной стеной клетки Франсуа возникли бесцветные глаза Люлю Моблана, ощерились его желтые зубы, и молодой человек услышал: «Шудлеры, пока они живы, не могут вызвать у меня сочувствие!»

Рассыльный пригнулся к рулю; наконец он одолел подъем и замедлил ход.

«Я должен увидеть отца, нам надо запереться вдвоем и обдумать, что можно предпринять», – с тоской думал Франсуа.

Но он уже знал, что утратил доверие Ноэля, что великан не примет во внимание ни единого слова, сказанного им, Франсуа, и даже попросту откажется с ним разговаривать.

– И куда ты только смотришь, разиня! – послышался окрик шофера.

Франсуа с удивлением обнаружил, что стоит посреди мостовой.

Как хорошо этому шоферу, он вправе бранить других... Все кругом жили какой-то вольной, беззаботной жизнью, и только он, Франсуа, был лишен этого благословенного покоя.

И ему вспомнились имена финансовых титанов, которых постоянно ставили в пример как людей, однажды разорившихся, но тем не менее сумевших благодаря своей яростной энергии и упорству за каких-нибудь десять лет возвыситься вновь, уплатив все долги, опять приобрести влияние в Париже и дожить до глубокой старости, пользуясь почетом и уважением. «Ну что ж! Я поступлю, как они». Но что именно надо сделать?.. Ведь, управляя Сейшельскими сахарными заводами, он имел все козыри в руках, а к чему пришел! На что он будет способен теперь, разорившийся и опозоренный? Перед ним закроются все двери... Люди отвернутся от него. Будь его отец помоложе, уж он-то нашел бы выход из тупика, но ему, Франсуа, собственными силами не подняться. «Я мог бы, пожалуй, стать рассыльным! И Жаклина стала бы женой рассыльного. А малыши – детьми рассыльного... Нет, остается лишь одно – покончить с собой».

Сначала эта мысль лишь промелькнула в его голове; он подумал о самоубийстве, как сплошь и рядом думают или говорят об этом тысячи людей, когда их постигает неудача в любви или в делах либо когда они серьезно заболевают: в минуту помрачения человек обычно на какое-то время теряет представление об истинных ценностях. Но когда, миновав несколько улиц, Франсуа опять вернулся к мысли о самоубийстве, то уже сказал: «Остается последний выход – пусть себе пулю в лоб». Мысль оформилась.

«Ведь хватало же у меня мужества на войне!» – думал Франсуа. Но мужество такого рода ничего не стоило на бирже, оно не могло помочь в борьбе против Люсьена Моблана, не могло спасти от разорения. Собственно говоря, мужество нужно человеку лишь для того, чтобы достойно умереть. Впрочем, оно вообще пригодно только для этой цели.

* * *

Биржевой бум, вызванный Ноэлем Шудлером за спиной сына и еще сильнее раздутый заранее торжествовавшим Мобланом, принял в представлении жестоко обманутого Франсуа поистине грозные размеры: его расстроенному воображению будущее представлялось гигантским мрачным утесом, нависшим над ним и его близкими и каждую минуту угрожавшим обрушиться.

Перед его взором неотступно стояли слова: «Соншельские сахарные заводы, нынешний курс... вчерашний курс...» Его преследовали бесцветные глаза Моблана; чаши весов смести-

лись, и в душе Франсуа инстинкт самосохранения мало-помалу отступал перед ужасом неотвратимой трагедии.

Все его тело покрылось испариной, ноги подкашивались от усталости.

Внезапно Франсуа встретил приятеля – Поля де Варнасэ, высокого и крепкого малого с темной гвоздикой в петлице; вместо приветствия он спросил, что Франсуа здесь делает. Встреча произошла на углу авеню Иены, и Франсуа ничего не мог толком ответить. Верзила Варнасэ дважды повторил свой вопрос: «Как идут дела?»

– Превосходно, превосходно, – машинально сказал Франсуа, глядя на собеседника невидящими глазами.

Варнасэ оставил его в покое. И Франсуа позавидовал приятелю, подобно тому как только что завидовал рассыльному, как завидовал всем людям, не заключенным в стеклянную клетку. Он утратил всякую связь с прочими смертными, со всеми, кто мог без содрогания думать о жизни.

Варнасэ слыл в обществе дураком, не знавшим, куда девать деньги.

«Уж во всяком случае он не глупее меня, – подумал Франсуа, – ведь по моей милости вся семья, все четыре поколения станут бедствовать... Жаклина получит свободу, она сможет снова выйти замуж за кого-нибудь вроде Варнасэ. Элементарная честность подсказывает мне этот выход. Когда человек не в силах нести ответственность за собственные поступки...»

Из любви к Жаклине он начал видеть в своем решении долг чести.

«Я обязан так поступить ради нее. Я не вправе уклониться... Надо будет оставить два письма: одно – Моблану, другое – Жаклине...»

Да-да, он нашел выход: его смерть всех поразит, Моблану придется отступить перед общественным мнением. Живому Франсуа не на что больше надеяться, мертвый он вызовет к себе всеобщее сочувствие.

Франсуа вновь пересек площадь Этуаль и двигался дальше, не разбирая дороги, лавируя между автомобилями. Он торопился. Теперь он твердо знал, что ему делать, и шел быстрым шагом; атмосфера, казалось, разрядилась, печатные строки уже не возникали перед его глазами. Больше не было ни акций, ни биржи. Только Жаклина и дети...

«Все разрешится разом, само собой».

Проходя мимо памятника Неизвестному солдату, где неугасимое пламя плясало под каменной аркой, этот человек, решивший умереть, обнажил по привычке голову. Темно-красный закат обагрил крыши Нейи. Над мостовой взмыла стайка голубей. Франсуа снова ринулся в равнодушный поток машин, напоминая пловца, который спешит одолеть быстрину реки и поскорее выбраться на берег. «Не повстречайся мне Варнасэ, пожалуйста, я до сих пор не знал бы, как поступить. Что он мне такое говорил? Не помню. Больше не надо ни с кем разговаривать. Кто из моих знакомых покончил с собой?»

И вдруг с удивительной отчетливостью он услышал назидательные интонации и манерный голос Лартуа: это было еще во время войны, в каком-то госпитале, куда Франсуа привез товарища, который, едва возвратившись из отпуска, застрелился.

«В большинстве случаев люди стреляются неудачно, – говорил тогда Лартуа, – ибо не знают, что в человеческом теле очень мало участков, поражение которых неминуемо ведет к смерти. И потом, самоубийца, как правило, не владеет собой. В девяти случаях из десяти пуля, направленная в сердце, не задевает его. Стреляя в висок, обычно поражают глазной нерв и, оставаясь в живых, слепнут. Стреляя в рот, всегда целят слишком низко и лишь превращают в кашу шейные позвонки. Надо метить выше, и тогда пуля попадет в продолговатый мозг».

Товарищ Франсуа не промахнулся. Он умер через два часа, не приходя в сознание. Тогда многие называли его трусом, говорили, что на фронте военный не имеет права покончить с собой. Что эти люди могли знать? Быть может, тот самоубийца тоже хотел вернуть кому-нибудь свободу, хотел, чтобы кто-то был уверен в его смерти, а ведь сообщение о гибели на поле боя

такой уверенности не дает. Если бы вот сейчас он, Франсуа, попал под автомобиль, что бы это дало?

«Причины самоубийства всегда непонятны... другим. Разве вот они, например, могут понять?..» – подумал Франсуа, глядя на проходивших спокойным шагом благополучных людей с тусклыми глазами, отливающими перламутром.

И он впервые без осуждения подумал о поступке своего фронтового товарища. Напротив, он ощутил какое-то братское чувство к этому молодому офицеру, который покончил с собой по совершенно непонятым мотивам. Франсуа проник мыслью в таинственную область сознания, лежащую на самой границе подсознательного, где вызревают планы добровольного ухода из жизни...

Уличные часы показывали без четверти девять.

«Там, на авеню Мессины, уже сидят за столом», – подумал он.

Он живо представил себе пустой прибор по левую руку от матери, и страшная слабость охватила его. «Самое трудное – придя домой, сразу же подняться к себе в комнату, не заглянув в столовую, – подумал Франсуа. И беззвучно повторил: – Мужество пригодно лишь для того, чтобы умереть».

14

За обедом на авеню Мессины царил гнетущая атмосфера. Ноэль Шудлер уже знал от Альберика Канэ, что Франсуа видели в клубе за беседой с Мобланом; поэтому великан мрачно молчал, с трудом сдерживая гнев.

«И чего этому глупому мальчишке вздумалось вмешиваться! Мало, что ли, он наделал нелепостей? Я отправлю его за границу, приберу к рукам, заставлю работать до изнеможения рядом со мной! Отныне он и шагу не сделает без моего ведома. Но чем он занят сейчас?»

Баронесса Шудлер, хотя муж никогда не посвящал ее в свои дела, чуяла недоброе, тем более что Ноэль Шудлер запретил еще накануне показывать «Финансовый вестник» старому барону. Биржевой опыт баронессы ограничивался незыблемым правилом: «При понижении покупают, при повышении продают». Она принадлежала к тому поколению женщин, которые даже не знали в точности размеров собственного состояния.

И все же, ознакомившись до обеда с курсом акций, она позволила себе сказать мужу:

– Однако, друг мой, если Соншельские акции падают, не пора ли начать их скупать?

Гигант кинул на жену яростный взгляд и отрезал:

– Адель, сохрани-ка лучше столь ценные советы для своего сына. Он в них нуждается больше, чем я.

Жаклина сильно тревожилась. Франсуа мельком что-то сказал ей о каких-то затруднениях в делах, и, хотя она толком ничего не поняла, ее беспокоило настроение мужа и особенно его непонятное отсутствие в этот вечер. Каждый раз, когда речь заходила о Франсуа, безотчетный страх овладевал ею и она начинала испуганно шептать: «Только бы с ним ничего не случилось! С утра ему нездоровилось... Непонятно, почему он не позвонил домой».

Нервное возбуждение заставило Жаклину внезапно потребовать, чтобы впредь барон Зигфрид не брал с собой Жан-Ноэля, когда занимается раздачей милостыни. Утром мисс Мэйбл обнаружила на ребенке вошь. Такого рода милосердие вредно со всех точек зрения и противоречит требованиям гигиены.

Жаклина знала, что обед – неподходящее время для препирательств со стариком Зигфридом: когда его дряхлый организм был поглощен процессом пищеварения, процессом, для него весьма нелегким, последствия могли быть совершенно неожиданными.

Но хотя молодая женщина всегда соблюдала должную почтительность в отношении родных мужа, она не умела скрывать свои чувства, и, если что-либо казалось ей неправильным, она

прямо говорила об этом с решительностью, свойственной представителям семейства д'Юин, и надменностью Ла Моннери; такая черта казалась неожиданной в столь миниатюрной женщине с тонкими чертами лица.

Надо заметить, что по молодости лет и из-за некоторой робости Жаклина, говоря кому-нибудь неприятные вещи, неизменно смотрела при этом на другого человека, словно ища у него поддержки или призывая его в свидетели.

Как всегда, на помощь ей поспешила свекровь.

– В самом деле, ребенок рискует там...

Баронесса внезапно поперхнулась. Старый Зигфрид побагровел до такой степени, что лицо его приобрело лиловатый оттенок. На лбу у него чудовищно вздулись вены. Слезящиеся глаза засверкали от гнева.

– Я пока еще глава семьи, – завопил он, – и ни эта... пф-ф... девчонка, ни вы, Адель...

И он изо всех сил запустил в невестку ломтиком поджаренного хлеба, который держал в руке. Его вставные зубы стучали, дыхание с хрипом вырывалось из груди.

– Никогда... никогда... никогда! – выкрикивал он без всякой видимой связи с предыдущими словами.

Дворецкий замер на месте, держа на весу блюдо с ростбифом. И в эту минуту Ноэль стукнул кулаком по столу.

– Неужели нельзя дать моему отцу спокойно пообедать, не говоря уже обо мне? Вы, видно, думаете, что у нас нет других забот? – закричал он с раздражением. – Если потребуется, я заставлю всех молчать, пока мой отец ест.

Он шумно дышал и оттягивал пальцами крахмальный воротничок.

Жаклина уже собиралась резко ответить, что все можно устроить еще проще и она вообще может обедать вне дома, но ее остановил умоляющий взгляд свекрови. Вспомнив, что перед ними доживающий свой век старик и постоянно жаловавшийся на большое сердце Ноэль, обе женщины разом замолчали.

– Кстати, а почему нет Франсуа? – осведомился минуту спустя старый Зигфрид.

– Он даже не счел нужным нас предупредить, – подхватил Ноэль. – А ведь тут не ресторан.

Жаклина, твердо решившая ни во что больше не вмешиваться, хранила враждебное молчание. Она перехватила взгляд, которым обменялись дворецкий и прислуживавший за столом лакей, и подумала, что в доме Ла Моннери такая сцена никогда не могла бы произойти в присутствии слуг: «Мы неизменно заботились о том, чтобы прислуга относилась к нам с должным уважением. Поистине из всей семьи Шудлер один только Франсуа обладает чувством собственного достоинства. Насколько он выше и лучше своих родных! Но где же он задержался так долго?»

Внизу хлопнула входная дверь.

– Это, должно быть, Франсуа, – проговорила баронесса.

Жаклина прислушалась; ей показалось, будто она узнает шаги мужа: он поднимается по лестнице! Затем она решила, что ошиблась.

Обед продолжался в полном молчании, слуги бесшумно подавали кушанья. Жаклина с трудом заставляла себя есть. Баронесса Шудлер произнесла несколько ничего не значащих фраз о каком-то знакомом еврее; старик Зигфрид, чего-то не понявший в словах невестки, снова вышел из себя.

– Еще мой отец принял католическую веру, а я... пф-ф... я был крещен уже в колыбели, – прохрипел он. – Однако мы никогда не стыдились своего происхождения... пф-ф... хотя все в нашем роду женились на католичках!

В эту минуту откуда-то из глубины дома донесся сильный треск, приглушенный толстыми стенами.

– Что происходит? – вскипел Ноэль. – Опять в кухне что-то разбили?..

И почти тотчас же на пороге возникла фигура старого камердинера Жереми. Он был бледен, руки его тряслись; приблизившись к Ноэлю, он что-то прошептал ему на ухо.

Великан побелел, отшвырнул салфетку и кинулся из комнаты.

Безотчетная тревога пронизала Жаклину, ей показалось, что в ее сердце всадили железный прут; она побежала за свекром, баронесса Шудлер последовала за нею.

– Что такое? Меня оставляют одного? – проворчал старик.

У дверей комнаты Франсуа Ноэль Шудлер остановился и, раскинув руки, крикнул:

– Нет, нет, не входите, прошу вас! И ты, Адель, тоже!

Жаклина оттолкнула свекра.

У изножья кровати лежал, распростершись, Франсуа: голова его была запрокинута, из открытого рта бежала струйка крови. Пуля, выйдя из черепа, пробила картину на стене. Франсуа целился достаточно высоко. На столе лежали два запечатанных письма. Жаклина услышала крик раненого зверя: это был ее собственный крик.

15

Из двух писем, оставленных Франсуа, Ноэль Шудлер схватил то, что было адресовано Люсьену Моблану; пробежав глазами листок, он тотчас же сжег его. Впоследствии он упорно утверждал, будто его сын оставил лишь одно письмо – Жаклине.

Несмотря на все усилия сохранить происшедшее в тайне, новость из-за болтливости слуг уже наутро стала известна в городе. Вот почему на бирже царил такая же напряженная атмосфера, какая бывает обычно после получения известия о роспуске парламента. Все только и говорили, что о самоубийстве сына Шудлера. Его объясняли различными причинами: неудачной спекуляцией акциями сахарных заводов, рискованными операциями на заграничных рынках, неблагоприятными действиями ради сокрытия пошатнувшегося положения фирмы. Все, о чем шептались в последние дни, получило трагическое подтверждение, и самые дурные предположения, по-видимому, оправдывались. Без сомнения, деловым людям предстояло стать свидетелями наиболее крупного краха со времени окончания войны.

– Но этого следовало ожидать, – твердили те, кто постоянно кичился своей дальновидностью. – Ведь Леруа не дураки. Если они уже несколько дней в убыток себе продают акции, значит, у них есть к тому веские основания. Впрочем, многое давно уже внушало подозрения. Какого черта Ноэль Шудлер ездил в Америку? А? Может, вы мне объясните?

Крупные биржевые маклеры и представители больших частных банков лишь молча покачивали головами, зато они перешептывались с теми, кому полностью доверяли, и разрабатывали план битвы.

Паника охватила и промышленные круги. Владельцы металлургических предприятий, составлявшие основную клиентуру банка Шудлеров, забирали крупные суммы со своих текущих счетов, что грозило поставить банк в затруднительное положение.

Внезапно около полудня на парадной лестнице здания биржи показалась фигура Ноэля Шудлера. Великан, слегка согнувшись, подымался по ступенькам, опираясь одной рукой на трость, а другой – на руку своего биржевого маклера Альберика Канэ, невысокого и такого тощего человека, что он казался плоским, вырезанным из картона. Перистиль, служивший местом торговли акциями вне биржи, кишел возбужденной толпой, с нетерпением ожидавшей удара гонга, и оттуда уже доносился тревожный гул, который с каждой минутой усиливался, нарастал и грозил разлиться по всему кварталу.

Биржевики, подталкивая друг друга, громко перешептывались:

– Шудлер! Смотрите, Шудлер! Сам Шудлер!

Ноэль был бледен, глаза его опухли и покраснели от слез и бессонной ночи; черный галстук скрывался в вырезе жилета на белой подкладке.

Ему не пришлось проталкиваться сквозь толпу: все расступались перед ним с невольным уважением, какое внушает несчастье. Он вошел в просторный зал, украшенный прямоугольными колоннами, расплывчатыми фресками и намалеванными гербами всех столиц мира – центров биржевой жизни, напоминавшими рекламы туристических агентств; невысокие деревянные барьеры делили зал на несколько секторов; пюпитры походили на алтари, информационные бюллетени напоминали железнодорожное расписание; тусклый свет, падавший сквозь витражи на толпу людей в черных костюмах, делал это помещение еще более похожим на вокзал, превращенный в храм, где поклонялись какому-то неведомому божееству.

Ноэль Шудлер не появлялся на бирже уже пятнадцать лет. И сейчас многие приняли его чуть ли не за привидение; те, кто был помоложе, смотрели на него, как на сказочную фигуру, внезапно облекшуюся в живую плоть. Этот огромного роста старик, отмеченный печатью богатства и горя и явившийся сюда, чтобы дать бой и постоять за себя, невольно вызывал восхищение.

Шудлер медленно продвигался вперед. Он бросил взгляд на биржевые таблицы: «Соншельские акции – последний курс – 1840». Каков будет курс после открытия биржи?

Поравнявшись с каким-то пожилым человеком, Шудлер бросил:

– Ты предал меня!

Кланяясь на ходу знакомым, он обронил еще несколько слов, и стоявшие рядом люди пытались понять их скрытый смысл, постичь, что в них таится – угроза или признание собственного поражения.

Обуреваемый различными чувствами, погруженный во всевозможные сложные расчеты, Ноэль Шудлер все же ощутил волнение, вновь окунувшись в лихорадочную атмосферу биржи: она напомнила ему далекое прошлое. Он расправил плечи, на щеках у него выступил слабый румянец.

Альберик Канэ уже собирался войти на своеобразную, огороженную балюстрадой круглую площадку, находившуюся в самом центре зала: туда имели доступ только биржевые маклеры, там заключались различные сделки. В эту минуту Шудлер схватил его за рукав.

– Вы действительно намерены поддерживать меня до конца, Альберик? – спросил он.

Маленький человек выдержал пристальный взгляд великана.

– Я вам обязан всем, Ноэль, вам и вашему отцу. Я буду вас поддерживать, пока хватит сил.

И он занял свое место возле балюстрады, обтянутой красным бархатом; биржевые маклеры, одетые в хорошо отутюженные дорогие костюмы, с массивными золотыми цепочками, пущенными по жилету, опирались на эту балюстраду, как на закраину колодца. Альберик Канэ был самым миниатюрным среди своих собратьев; он швырнул наполовину выкуренную сигарету на кучу золотистого песка, высившуюся в центре площадки и ежедневно обновлявшуюся; какой-то биржевой маклер однажды шутя назвал ее «могильным холмом надежд». Затем Канэ посмотрел на стенные часы: большая стрелка уже готова была закрыть маленькую...

Послышался звук гонга.

– Предлагаю Соншельские!.. Предлагаю Соншельские!.. Сколько?

В первые же минуты курс Соншельских акций упал до 1550 франков, а число предлагавшихся к продаже достигло четырех тысяч.

Ноэль Шудлер, стоявший у балюстрады с ее внешней стороны, на целую голову возвышался над биржевыми посредниками и «зайцами», которые шныряли в толпе, размахивая какими-то листками и телеграммами. Время от времени он подзывал через служителя Альберика Канэ, что-то шептал маклеру на ухо или передавал ему записку. Тот испещрял листки блокнота рядами микроскопических цифр, загибал углы печатных карточек, которые сжимал

в ладони, рассылал во все стороны своих служащих. Ясно было, что весь персонал его конторы занят выполнением приказов Шудлера.

Самоубийство Франсуа породило смятение, какого не могли бы вызвать одни только враждебные действия Моблана; с улицы Пти-Шан, где помещался банк Шудлеров, поступали зловещие сведения о размерах срочно востребованных вкладов.

Акции банка Шудлеров падали, акции рудников Зоа – тоже. Именно тут развертывалось сейчас генеральное сражение: защищаясь, Ноэль поднимал курс на пятьдесят франков, наблюдал, как он снова падает, и вновь поднимал; он боролся против паники с помощью миллионов. В такой день, как этот, банкир не мог бы, сидя у себя в кабинете, столь гибко руководить борьбой, отдавать каждую минуту нужные распоряжения, маневрировать резервами, использовать все, вплоть до своего импозантного вида.

Между тем курс акций Соншельских сахарных заводов продолжал неумолимо снижаться. То и дело слышались громкие возгласы:

– Предлагаю Соншельские!.. Сколько?.. Восемьсот... Тысячу двести штук... Беру по тысяча четыреста двадцать франков... Беру по тысяча четыреста!.. Сколько?.. Давайте пятьсот штук по тысяча четыреста!.. Соншельские! Сколько? Две тысячи штук... Беру по тысяча триста пятьдесят... Давайте двести штук по тысяча триста пятьдесят!.. Соншельские, предлагаю Соншельские!..

Соншельских акций продавали все больше и больше, а спрос на них неотвратимо сокращался. Цифры на электрическом экране зажигались и гасли. Многие биржевые агенты окончательно сорвали голос и объяснялись лишь жестами.

– Проводи меня к телефонной будке господина Канэ, – обратился Ноэль Шудлер к биржевому «зайцу».

В просторной квадратной комнате, примыкавшей к большому залу, помещалось вдоль стен около сорока одинаковых небольших будок; в них располагались люди разного возраста, и все они, надрываясь, что-то кричали в телефонные трубки; на лбу у них набухали жилы, глаза вылезали из орбит; издали они напоминали насекомых, копошившихся в стеклянных коробочках. Над каждой будкой была прибита медная дощечка с выгравированной фамилией биржевого маклера. Шудлер вошел в будку и в свою очередь превратился в черное насекомое, только значительно большего размера, чем другие, – в насекомое под увеличительным стеклом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.